

Николай СОЛЯНИК

Как я был
«ОККУПАНТОМ»

СОЛДАТСКАЯ ПОВЕСТЬ

Москва
2010

Соляник Н.А.
С 60 Как я был «оккупантом». – М.: Издательство «Спутник+», 2010. - 72 с.

ISBN 978-5-9973-0765-3

Николай Ананьевич Соляник – поэт, прозаик, лауреат Всероссийской литературной премии имени Н. Рубцова, обладатель диплома «Золотое перо Московии» (1 степени).

Книга «Как я был «оккупантом» – во многом автобиографическая. Описываемые в ней события относятся ко времени дислокации на территории Восточной Германии советских воинских подразделений, в одном из которых автору и довелось служить. Армейский быт, смотры, учения, взаимоотношения с местными жителями, раздумья над воинским долгом: «Зачем мы здесь?»...

«Служба есть служба, – пишет автор. – Легкой она не бывает, да еще за кордоном. Но в том и состоит жизненная мудрость, что со временем из памяти, да и из сердца выветривается все горькое, грустное и остается лишь светлое, доброе, а порой – и вызывающее улыбку».

ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

Отпечатано с готового оригинал-макета.

ISBN 978-5-9973-0765-3

© Соляник Н.А., 2010

А ну их, этих камрадов!

Мы выезжали на учения или уезжали, уж не знаю, как точнее тут сказать. Естественно, подняли нас по тревоге. Суматошное это слово «тревога»: вскочить, одеться – гимнастерка, шаровары, сапоги.

Так и не понял за годы службы, почему солдатские штаны назывались шароварами? Потому что расширились к бедрам? Так и офицерские штаны – и ого! – как расширялись, а называли их весьма благородно: галифе. А тут – шаровары. Обидно даже...

Вскочить, одеться – ладно. Это уже привычно. Это, уточню, когда дежурный по роте, отслеживая на часах последние минуты могучего казарменного сна, резко наотмашь стегает ладонью по выключателям и орет, как резаный: «Рота, подъем!»

А чего орать-то? Чтобы показать, какой ты несчастный: не доспал. Так на то она и армия: кому – спать, кому – бодрствовать. Или – чтобы насладиться своей властью: дескать, в считанные секунды поднял на ноги сотню человек. Ладно, уж сотню! «Старики» – те еще долго будут кряхтеть и потягиваться, поругивая в сердцах и надоевшую казарму, и служак-командиров, и дурную чужую немецкую погоду.

Так что вскочить-одеться (вскочить со второго яруса) касалось только нас, молодых. Как, впрочем, и – дряяние полов, мытье кухонных бачков, стояние у тумбочки... Но не вечно же ходить в салагах. Придет час, станем и мы «стариками», тогда и расслабимся.

– А потому, милоч, – напутствовали нас знающие, – по-паши на первом годку! Потом и за тебя попашут...

«Тревога!» – это общий сбор, клич единения.

Суетное, в полутьме, топанье сапог у вешалок с шинелями, у пирамид с автоматами и противогазами, нетерпеливые выкрики командиров: «Отделение (первый взвод, второй, третий), строиться!». И – бегом, громяхая штыками и подсумками, в автопарк.

Почему-то наш автопарк находился за пределами части, в отличие от боксов, или, проще, гаражей первого батальона, непосредственно примыкавших к казармам.

– Потому, – объяснили мне, – что они, по оперативке, *первые, мы – вторые*».

– Понял.

Прибегаем. А из боксов, разбередив тишину и подсинивая дымком стылый ноябрьский рассвет, выползают тяжеленные ЗИЛы (каждый из них – радиостанция, аппаратная), следом мелкота: «газики», «уазики».

– Как? – удивился, – водилы уже здесь?

Опять-таки объяснили, что водителям по тревоге надлежит пулей вылетать из казармы, не дожидаясь каких-либо построений. Как, впрочем, и вестовым. Те также мигом разбежались по офицерским коттеджам, дабы сообщить их обитателям об объявленной «тревоге». Мне это казалось странным: пока вестовой добегал до означенной квартиры, офицер уже мчался в автопарк, потому как, во-первых, еще с вечера знал о времени ее объявления (четыре утра), как и все в полку знали: «тревога»-то учебная, – во-вторых, тому же старлею (капитану, майору) наверняка уже позвонил дежурный по части...

Но таков был порядок: в случае объявления «тревоги» на дом к офицеру должен прибыть вестовой. Расчет все на тот же боевой вариант, когда и связи может не оказаться, и срочное пакет-донесение доставить потребуется.

Машины выстроились вдоль автопарка.

– Командиры рот и взводов, старших машин – в голову колонны! – команда. Понятно, для инструктажа: уточнения маршрута, расчетного времени движения.

– Регулировщики, строиться!

Это уже и меня касается. По маршруту следования колонны полагалось выставить регулировщиков – в населенных пунктах, на развилках лесных дорог. Меня как молодого бойца в регулировщики (а чем еще мог пригодиться?) и определили. Выдали два флажка: красный – стоп, желтый – указание направления пути. Дали и фонарик. Опять же красный свет – стоп, зеленый, с неоднократно повторяющимся движением руки – направление движения. И весь инструктаж.

Погрузили нас в «уазик» и разбросали по точкам. Я был где-то пятым или шестым: какой-то стылый городишко, площадь-брусчатка.

– Стой тут и жди! – приказал старшина. – Как увидишь головную машину, указывай флажком направо. Понял?

– Понял!

Пристраиваюсь рядом с полицейским, на всякий случай, кивнув ему: *гутэн таг!* Он тоже вроде кивнул. А на площадь, несмотря на ранний час (немцы – народ ранний), со всех пяти сторон один за другим устремляются «Трабанты», «Фольксвагены», разные-всякие грузовички.

«Ну, – думаю, – попал! Как же смогу остановить их, когда появится наша колонна?» По рассказам же «стариков» знал, что полицейские не очень-то помогают в такой ситуации, дескать, поставили тебя с флажками и «калашом» за спиной, вот и выкручивайся, как знаешь. Рассчитывать же на то, что при появлении колонны все эти трабанты-барабанты тут же замрут, и думать было нечего. Напротив, всяк будет норовить, опять же по рассказам «стариков», проскочить через «окошко» в колонне или, наоборот, – вклиниться в нее. За такое и регулировщику, и водителю крепко доставалось.

«И поделом, – размышлял я. – Ни к чему, очень даже ни к чему в нашей колонне находиться какой-то чужой легковушке. А вдруг в ней... шпион?» Как рассказывал вчера на инструктаже замполит, едва та или иная наша, в смысле советская воинская часть, выезжает на учения, на хвост ей тут же садится иностранная военная миссия: английс-

кая, французская, американская. Или – спецслужба. Что, наверное, одно и то же...

Пять, десять минут стою – колонны нет. А вокруг площади все более заметное оживление: кто – на работу, кто с ранцем за спиной – в школу, или что тут у них? Колледж? И всяк глазеет в мою сторону. Вон тот пожилой немец вообще слез с велосипеда, чтобы получше разглядеть меня. Впервые что ли видят здесь советского солдата? В новенькой серой шинели, со звездочкой на шапке-ушанке и с сияющей бляхой на ремне (о, сколько на нее ушло аси-дола!).

«Ну, что ж, смотрите! – гордо выпячиваю грудь и еще не совсем умелым движением поправляю за спиной «калш». – Да не бойтесь: он не заряжен».

Выкуриваю, наверное, уже десятую сигарету. Колонны все нет. А ноги, чувствую, застывают. Чертова немецкая промозглость! И тут – о, господи! – аж мороз по коже. А откуда она должна появиться, эта самая колонна? В смысле – на какой улице? Там, где синееет *фризьерсалон* – парикмахерская (немецкий-то знал немного) или левее, где ярко-красное *лебенсмиттель* – продовольственный магазин? Или, вообще – правее, где какая-то фура торчит?

«Так, без паники, – успокаиваю себя. – Откуда бы ни появилась, появится».

А «Фольксфагены», «Трабанты» все прут и прут. И все так же улыбаются немочки на тротуарах. Незаметно (незаметно от кого?) машу им. Тут же отзываются, о чем-то щебечут. Интересно, о чем? Полицейский, как мне показалось, неодобрительно покосился на меня. Ну и ладно! Я и вон и тому камраду помашу: что-то уж загляделся на меня. Он тоже помахал мне и, прихрамывая, покатил велосипед по «зебре»...

Колонны все нет. Когда же, наконец? И на какой улице? Там, где *фризьерсалон*, или – *лебенсмиттель*? И, кстати, (снова изморозь по спине): флажком-то куда указывать? Что направо – понятно. Но направо – расходятся две улицы. И тут вижу: прямо на меня, подпрыгивая, несется командирский «уазик». Я, естественно, – во фронт и лихо

отмахиваю флажком. «Уазик», кивнув антеннами, делает легкий поворот и, не сбавляя скорости, несется дальше. Следом за ним – тяжелые «ЗИЛы», один, другой, третий...

Собственно, зачем их считать? Их есть, кому считать. Как опять-таки рассказывал замполит, вот так же шла наша автоколонна, не совсем наша, а из другой части, и сидящая в телеге, вместе с отцом, девочка у обочины дороги пересчитала все машины и даже успела записать их номера. С той девочкой, вернее, с ее отцом потом разбирались. Так замполит рассказывал.

И еще запугивал нас всякой всячиной, дабы, понятно, усилить нашу бдительность. Говорил, что якобы западные спецслужбы пообещали гэдээровцам за каждый найденный в лесу или еще где-либо конверт с номером Полевой почты* – пять марок, а за конверт с письмом – десять. Что в лесу, под деревьями, могут оказаться бутылки с отравленным шнапсом и т. д. Наверное, все это имело место.

Пятый, шестой, десятый «ЗИЛы»... Кто-то из ребят машет мне: молодец, дескать, знай наших! А мне и самому приятно: ни одна легковушка сквозь колонну не прорвалась, в колонну не втиснулась. Стоят, как вкопанные. А которым уж совсем невтерпеж, вырулили на другую дорогу. Так-то!

А ЗИЛы все идут да идут. Осталось дожидаться замыкающего колонну «уазика». Он-то и подберет меня. Вкладываю флажки в футляр и... еще издали вижу торчащий из кабины старшинский кулак. А уж мат-перемат! На всю Германию.

Короче, направил я колонну не туда. Не в ту степь, как говорится. Вернее, не в тот лес.

Что было потом? На гауптвахту меня не посадили (молодого-то да зеленого?), не разжаловали (рядового-то!), из армии не уволили (а я бы и не возражал). Отделался я

* Адреса советских воинских частей, дислоцировавшихся за рубежом, обозначались однозначно: Полевая почта. Номер своей Полевой почты помню до сих пор: 89730.

тремя нарядами на кухню. И отработал их во время учений, в лесу, на свежем воздухе. Чем плохо?

Потом, когда уже сам стал «стариком», растолковывал молодым: поставили регулировщиком – не вертись, как вошь на гребешке. И вообще, ну их этих камрадов и белокурых немочек!..

А той вынужденной остановкой (что колонна пошла не туда, тут же было обнаружено) не замедлили воспользоваться: черные таблички номеров машин поменяли на белые. Так, оказывается, полагалось на марше. Для конспирации. А спустя где-то час велели поменять их обратно. Все это мне показалось сущей формальностью: кому надо, запросто могу выследить колонну...

Цвай хундэрт

Тактичный все же народ – наши патрули. Завидев солдата в самоволке (уж куда яснее: форма-то не парадная), никогда не подойдут к нему, пока он общается с немцами или, того лучше – с немочками. Инструкция, видимо, у них такая была: при местных не борзеть. Будут топтаться, топтаться поодаль, махорить... Но стоит отдалиться от тех же немочек – все, каюк.

Как-то под вечер мы с моим другом Толей Балацким, механиком-водителем, забрели в гаштет, кафе по-ихнему. Уже не помню названия городка: крохотный, так, селение. А забрели, ясное дело, из леса. Из того самого, где выше сосен взметнулись наши антенны, где с утра до ночи тархтят движки наших радиостанций, где пахнет дымным чайком и где так сладко – о, господи! – дурманит дух свободы. Лес – это вам не портяночная казарма. Лес – это, братцы, свобода!

Понял я это: лес – свобода, – только здесь, в армии, притом – в Германии. Он здесь такой же, как наш, подмосковный, разве что более хвойный. Ну, и понятно, поаккуратней, почище, построже. Даже излишне построже. До педантизма. Представьте себе, чуть ли не на каждой ели, сосне отметина: синяя, желтая, красная. На фига, спрашивается? Или те же глиняные горшочки на стволах. Опять-таки на фига?

Потом нам, несмышленым, объяснили, что все деревья в немецком лесу пересчитаны, и за каждым из них ведется досмотр, о чем и свидетельствуют цветные отметины: такому-то дереву три года, такому-то – пять лет, такому-то – десять. Это – на распил, это – лечить, эту сосенку – под рождественскую елку. А горшочки на стволах? Для сбора смолы. А мы-то, изверги, крушили их, приговаривая: «Живодеры! Над деревьями издеваетесь!..»

Лес потому еще – свобода, что подвигает на подвиги (такой вот каламбур); из леса, пусть и ненадолго, можно уйти, чтобы, как говорится, себя показать, на людей пог-

лядеть, то есть ощутить еще большую свободу. Ну и, по возможности, отметить эту самую свободу. Чревато, конечно. Но какой адреналин! Потому так любы нам были выезды в лес, на учения.

Словом, подходим с Толей Балацким к стойке бара, привычно распрямив гимнастерки.

Ах, гимнастерка! Без малого столетие верой и правдой служила она русскому воинству: от генерала до рядового, – прочная, удобная и даже по-своему элегантная. Что она есть такое? Извольте. Та же длиннополая сорочка, но со стоячим воротником. И с нагрудными карманами. Ну и, естественно, с погонами. Как-то задался вопросом: сколько же пуговиц на ней? Оказалось, тринадцать: на вороте, на манжетах, на погонах, на карманах... И каждая – со звездочкой. Как же после этого было не уважать ее, такую звездастую? Рыже-зеленая, когда новенькая. А если уже бывалая-перебывалая, прокаленная солнцем и отстеганная дождями и мытая-перемытая, – а драили мы ее щеткой, прямо на асфальте, – то и вовсе бежевая. Хэ-бэшная. В гимнастерке, туго подпоясанной ремнем (ни складочки!), поневоле выглядишь стройнее. Украшала она в свое время и меня.

А бляхи-то, бляхи на ремнях! Горят! И – стрелки на штанах. Как наводить их, служивые знают. Оттягиваешь штанину вдоль ноги и несколько раз проводишь по изгибу междузубьем расчески: вверх-вниз, вверх-вниз. И стрелка готова. Такая вот солдатская смекалка...

– *Гутэн таг!* – при этом успеваем окинуть взглядом зал: наших, в смысле офицеров, вроде нет. Встреча с ними была бы весьма нежелательной. Как с теми же «макаронниками», как называли мы сверхсрочников (прапорщики – по-нынешнему), имея в виду их сытую макаронную жизнь. Суть в том, что любимым нашим блюдом были макароны по-флотски. Деликатес! Давали нам их редко, в основном по праздникам. Сверхсрочники же, питаясь в офицерской столовой, могли улепетывать их сколько угодно.

В общем, те и другие запросто могли нас сдать: ведь нам, срочникам, строжайше было запрещено посещать

питейные заведения. Более того, имелось негласное указание владельцам этих самых заведений при появлении нашего брата тут же сообщать об этом в комендатуру.

– *Т-а-а-г!* – вторит розовощекий бармен.

Ох уж, эти немцы! До того небрежны в приветствии. Ну, почему бы не сказать, как надо: «*Гутэн таг!*», «*Гутэн моргэн!*»? Нет же: «*Т-а-а-г!*», «*Мо-о-ргэн!*» Или – «*Видэрзээн!*» вместо «*Ауфвидэрзээн!*». На звуках что ли экономят? И тут верны своему прагматизму? Это равносильно тому, чтобы мы, здороваясь, говорили: «*Де-е-нь!*», «*У-у-тро!*» Нет же, говорим нормально: «*Здравствуйте!*», «*Добрый день!*», «*Добрый вечер!*» Ну, друзьям, понятно, «*Привет!*», «*Пока!*»

Вспомнилась история почти анекдотическая. Рассказывали мне ее «макаронники». Набрались они крепко, шумели, наверняка буянили. Законопослушный бармен тут же позвонил в комендатуру. Забрали хлопцев. Отсидели они, все честь по чести, и снова сюда, в гаштет: «*У-у, морды!*» В ответ сама любезность: «*Гут моргэн!*», «*Гут моргэн!..*» Умеют, значит, правильно сказать, когда захотят...

– *Вотка?* – бармен вскидывает на нас голубые глаза:

– *Я-а-а,* – киваю я. «*Я-а-а*» у них – наше «да». Ну, язык!

И решительно добавляю:

– *Цвай хундэрт!* (Двести.)

Балацкий, нахмурившись, смотрит на меня. Он не знал и не хотел знать немецкого языка по идейным, как говорил, соображениям. В войну погиб его дед, инвалидом вернулся отец. Дом сожжен. Как такое забыть? Конечно, он понимал, что немцы теперь не те, многое узнали и осознали, да и сами натерпелись от своего бесноватого фюрера, тем не менее, глядел на них так, словно хотел убедиться: действительно ли все поняли и осознали?

Как-то в гаштете... Опять гаштет! Любили мы все-таки хаживать в это заведение. И не выпить ради. Для этого немало и других возможностей было. Общения ради хаживали мы в гаштет. Пусть на кое-каком немецком, а с той стороны – на кое-каком русском, но ведь изъяснялись: кто есть кто, откуда, немного о политике... Мы это называли народной дипломатией.

Так вот, в течение, наверное, получаса Балацкий общался с одним пожилым немцем при помощи всего двух фраз: «Сталинград!», – говорил немец и качал хмельной головой. «Гитлер – сука!», – вторил ему не менее поддавший Балацкий. «Сталинград!», – снова восклицал немец и, задрвав на спине рубаху, показывал зарубцевавшиеся раны. «Гитлер – сука!» – повторял Балацкий и ударял кулаком по столу. И ведь понимали друг друга.

Своего «сталинградского» немца, уже совсем «хорошенького», он довел до дому, прислонил, как полагается, к дверному косяку. Тот панически замахал руками: «Цюрюк!» В смысле – назад. За дверью, действительно, послышался женский голос. Балацкий, понятное дело, ноги в руки и – назад, в часть.

Эту историю он нам частенько рассказывал. Мы ухахатывались. Особенно над этим его «Гитлер – сука!» Как будто немец, и впрямь, понимал, что такое по-русски «сука»...

Все еще нахмурившись, он смотрит на меня, потом переводит взгляд на бармена и для убедительности выбрасывает два пальца. Тот понимающе кивает:

– *Айн момэнт*, – и ставит на картонки-кружляшки две слезные стопочки.

Как сейчас вижу: берем мы эти стопочки и аккуратно так, нежнейше, наслаждаясь их прохладой, чокаемся:

– Будем! – и лихо опрокидываем. Не спеша, закуриваем. Свои, махорочные.

– Ну, шо? – спрашивает Балацкий. – Ишо по одной?

Расслабившись, он любил вклинить в свою речь украинские словечки. И еще – когда волновался. Тут уж запаса русских слов ему явно недоставало. Родом он был откуда-то из Прикарпатья, то ли из Тернопольской, то ли из Хмельницкой области. А вообще, мы как-то мало интересовались, кто есть откуда: из какого города, поселка? Это не считали столь важным. Важно было, что все мы – из Союза...

– Чуть повременим, – говорю Балацкому, – оглядимся, освоимся.

Зал небольшой. Мягкий полумрак, деревянные столы, заставленные пивными кружками, лимонадом – пожилые, молодежь, дети. Немцы любят отдыхать в гаштете всем семейством.

– А нас, кажется, приглашают, – киваю на столик у окна. – Вон тот камрад в клетчатом пиджаке. Давай еще по сто – и к нему.

– Давай.

Присаживаемся. Кладем на стол краснозвездные пилотки:

– *Гудэн абэнд!*

В ответ, естественно, «*А-а-бэнд!*».

– *Камрад!* – приподнимаю стопку. – *Гэзунд!* На здоровье!

Он никак не отреагировал на мои слова или сделал вид, что не понял меня, и, отхлебнув пива, продолжал глядеть на нас не то чтобы с интересом, а как-то проникновенно-пытливо, и глаза холодные, что осеннее небо.

– Капрал? – задерживает взгляд на моих погонах.

– Сержант, – констатирую я, заведомо зная, что он опять чего-то не поймет.

– *Бундэс рэпублик – гут. Дойче дэмократише рэпублик – шлехт*, – чеканит слова.

– О чем это он? – наклонился ко мне Балацкий.

– Да так... Западный он немец.

– Оцэ дило! – насупился Балацкий, пухленькое лицо его порозовело, короткий «ежик» на голове оцетинился. – Мотаем отсюда!

– Погоди. Не так сразу.

Отпили еще по глоточку. Да, непростая штучка – этот камрад. Да какой он к черту камрад? Казачок засланный.

– *Бундэс рэпублик*, – обращаюсь к нему, так же чеканя слова, – капитализм.

– *О, я-а, я-а!* – воскликнул он и поднял большой палец.

– *ДДР, ГДР*, – продолжаю я, – социализм, справедливость.

Он слегка поморщился, напрягая слух, потом покрутил пальцем у виска:

– Найд! Шлех!

Похоже, он провоцировал нас. Хотя бы Балацкий не изрек свое сакраментальное «Гитлер – сука!» И тут слышим справа и слева свистящее-шипящее:

– *Официрен! Официрен!*

Я сидел спиной к двери, Балацкий – вполоборота.

– Что там? – тихо спрашиваю его.

– Патрули. Трое. Офицер и два солдатака.

– Да, влипли. Ладно, что-нибудь придумаем.

Казалось, зал со всеми его *мэнами, фрау, киндерами замер*. Одни взирали на нас с любопытством: дескать, чем все закончится? Другие – с сочувствием: мол, такая уж солдатская доля – ущемленность во всем и вся.

– Где они? – спрашиваю Балацкого.

– У стойки бара. Лимонад пьют.

Немец, уже достаточно раскрасневшийся, расплылся в нехорошей улыбке:

– *Дас ист паник?*

«Да помолчи ты, черт рыжий!», – чертыхаюсь про себя, и снова к Балацкому:

– Вечно стоять они там не будут. А к нам, пока мы за столиком, не подойдут, сам знаешь.

– Так-то оно так... О-о! Офицэр кудысь подився.

– Может, в туалет? Сваливаем!

Разом вскочили и, схватив пилотки, рванули к выходу мимо солдатиков с патрульными повязками:

– Тихо, ребята! Вы нас не видели.

Те и мяу сказать не успели, как мы уже были на улице и во весь упор неслись в сторону темнеющего невдалеке леса. Лес, он – родной, он спасет! Вот и заветная тропинка. Мы ее еще днем присмотрели. Летим, не успевая потирать обожженные хвойными лапами лоб, щеки.

– Передохнем, – сдается Балацкий. – Нас воны уже не догоню. Та й не знают, куда мы побиглы.

– Догадаться могут. В лес, где учения. Но мы через двадцать минут будем на месте. А там нас фиг найдешь.

– Это точно, – согласился Балацкий. – Слухай, а той ни-мэць точно с Запада?

– Сто процентов.

– Шпион?

– Да ладно тебе.

– Впэршэ шпиона бачу. Вин шо, хотив нас завэрбовать?

– Тебя завербуешь! Хорошо, хоть не стал кричать: «Гитлер – сука!»

В темноте я почувствовал, как он улыбнулся:

– А солдатикам, мабуть, влэтыть за нас.

– Ничего, обойдется. На губу, по крайней мере, не посадят. А придет время, сами станут в самоволку бегать. Дело солдатское.

– И то так, – он замедлил шаг.

– Ты чего? Надо поспешать.

– Водку не допылы?

– Ну, Балацкий! Ну, хохол! О водке сожалеет. Скажи спасибо, что ноги унесли. А то были бы нам *цвай хундэрт...*

Ягода черника

– Завтра вместо физзарядки – сбор черники, – объявил на вечерней поверке старшина. – Котелки получите в каптерке.

А нам и в радость! Значит, утреннего тррам-тррам-тррам – «Бегом марш!» – не будет. Да и сколько можно долбить сапогами немецкий булыжник? Вернее, немецким булыжником дубасить наши сапоги.

Лично для меня утренний бег в строю – десятки паркованных сапог, нудно, тупо – был сущей пыткой. Тррам-тррам-тррам. Через распахнутые настезь решетчатые ворота с прикрепленными к ним красными звездами. Тррам-тррам-тррам. Через дощатый настил железки-одноколейки.

Железка... В пятидесяти метрах от КПП. Ну, не пытка ли? Ведь что такое для солдата рельсы? Дорога домой. Нам же приходится пересекать их (переходить, перебегать, переезжать) ежедневно с неизменной сладкой болью в сердце: придет, придет час, и помчит, помчит нас эшелон... А как реагировали дембеля на мелькнувший на экране поезд? Клуб буквально взрывался: «Едем!»

Тррам-тррам-тррам. Мимо футбольного поля с длинными лавками из обструганных брусьев. Тррам-тррам-тррам. Вон до того перекрестка, что у офицерской столовой. Там – направо и уже до самого предместья Фюрстенберга – маленький такой городишко. Потом резко – налево, в сторону автопарка. Тррам-тррам-тррам...

И, чтобы совсем уж не свихнуться, глядя в затылок впереди бегущего, старался как-то отвлечься, подумать о чем-нибудь приятном. Но о чем? О том, что будет на завтрак? А что тут думать-то: «кирза» (овсянка). О весточке из дома? Дома вроде все нормально. Ждут! А друзья пишут все реже. Ясное дело, у них свои заморочки, которые нам из нашего солдатского далека и не понять. О подружках и говорить не приходится...

Можно просто мурлыкать себе что-то под нос. Но, увы, не думается и не мурлычется. Потому как, словно молотом по голове: тррам-тррам-тррам!

И какое же благо «Шагом марш!» Не идем, а плывем. Лишь изредка чиркнет о булыжник чья-то неловкая подковка. Но благо эта продолжается недолго, до следующего поворота, что у озера. И снова как наказание: «Бегом марш!»

Ну почему, старшина, ты не жалеешь наши сапоги?

А вот за сегодня спасибо! Разбредемся по лесу кто куда. Лес это – ощущение свободы. Хоть на голове ходи. Песни ори. Сильное чувство!

А черники наберем. И полопаем ее вдоволь. И чистым воздухом подышим. Красота!

Но уже доносится (неужто час пролетел?) далекое, как с другого берега: «Рота, строиться!»

Щас! Успеется. Еще пару ягод. А черники в тот год выдалось – не меряно.

Один за другим подтягиваемся в строй какие-то совсем другие, посветлевшие, посвежевшие, хохоча и тыкая друг в друга пальцем: у кого губы чернее, тот больше ягод и слопал. Вроде все. Вон еще Орех.

– Орех, давай скорей!

Орех – прозвище. Фамилия – Орешин. Запыхавшийся, пристраивается рядом со мной:

– Отсыпь чуть-чуть, – показывает полупустой котелок.

– Чё, не набрал?

– Споткнулся о корягу, рассыпал...

– Ну, ты даешь! Ладно, возьми чуть-чуть. Саш, – толкаю Красненко. – Отсыпь и ты. Надо же выручать Ореха.

Красненко – сибиряк. Высоченный, а сапоги носил, смешно сказать: 38-го размера. И как только на ногах держался? И шаг у него был короткий, куцый, совсем не строевой. Да и не любил он строевую подготовку. Впрочем, кто ее любил? И еще постоянно хмурился. Вот и сейчас насупился:

– Ему бы только орехи и собирать.

– Рота, смирно! – командует старшина.

В лесу? Смирно? Чудной ты, старшина! Мы же не на плацу.

– Напра-во! Шагом марш!

Щас последует: «Запевай!» А что? И запоем. Настроение у нас что надо: «Жил да был черный кот за углом...»

А компот из черники получился на славу. Нам его несколько дней подавали, потом сказали:

– Хватит!

– Черника, что ли, закончилась? – недоумевали мы. – Так мы ее снова наберем.

– Отставить! – отрезал старшина. – Черникой будете зимой баловаться.

Словом, потянулись обычные армейские будни с их подъемами и отбоями, дежурствами и «караулами», долбанием «морзянки» и неизменным утренним тррам-тррам-тррам!

А тут как-то после подъема объявляют:

– Всем зайти в ленкомнату*.

Мы переглянулись: с чего бы это? Срочное объявление, политинформация? Такое бывало.

Усаживаемся за столы с аккуратно разложенными на них подшивками газет, журналов: «Советская армия», «Советский воин», «Красная звезда», «Комсомолка»... – в окружении плакатов и стендов о Вооруженных силах, о боевом пути полка, подкрепленных ленинскими цитатами и выдержками из решений партсъездов.

Напротив, за столом – командир роты, начмед в белом халате поверх френча.

– Ну вот, – совсем не по-военному начал начмед.

Он недавно в нашей части, прибыл по замене. Почему-то мы его недолюбливали. Наверное, потому, что прибыл он с молоденькой медсестрой: красивая – спасу нет. Короткий белый халатик...

– Так вот, – продолжал начмед. – Вы собирали в лесу чернику, две недели тому назад, и ваш Орешин... Орешин, встаньте!

* Ленинская комната. Помещение в казарме для проведения собраний, политзанятий, своего рода просветительско-идеологический центр роты.

Орешин поднялся, бледный, потерянный.

– ... подцепил триппер.

По рядам брызнул смех.

– Ничего смешного, – как можно строже сказал начмед. – В тот день кто-нибудь из вас видел немку на велосипеде?

– Не-е-е, – загудели мы.

– А немка-то оказалась заразной, – нагнетал он. – Ее специально к вам подослали.

– Да не видели мы ее!

– На хрен она нам нужна!

– Вот именно на хрен, – ухмыльнулся ротный. Он вообще любил подшучивать, при случае мог смачную присказку вкрутить, анекдот травануть. Такой он был, наш ротный Кашин. Капитан Кашин. Может, в фамилии и заключалась разгадка легкости его характера. Мы, действительно, редко видели его раздраженным. Да это и не шло ему, что он и сам наверняка знал, потому как в крике мягкий его баритон срывался на такой дискант, что ему, наверное, становилось неловко за себя. А нам – за него.

– Что ж, – протянул начмед и стал натягивать резиновые перчатки. – Тогда по одному ко мне.

– Насилие над личностью! Протестуем! – зароптали мы, не переставая ржать.

– Ладно, мужики! – выходя из-за стола и продолжая ухмыляться, проронил ротный. – Надо – значит надо.

Расстегнули ширинки (в ленинской-то комнате!) и двинулись к начмеду. Дело обычное. Уж сколько раз приходилось спускать трусы, кальсоны перед разными начмедами – в военкомате, на сборных и пересыльных пунктах. Армия – штука суровая, мужская, и твои мужские достоинства в такой же мере принадлежат ей, как и ты сам...

– Орех, ну ты дал! Расскажи хоть, как дело было? – пристали мы к нему, рассаживаясь в курилке (вокруг вкопанной в землю бочки из-под солярки или бензина – этакой, как сказали бы сегодня, корпоративной пепельницы).

– Да как, как? – вполне освоившись со своим положением, улыбнулся он. – Забрел я далековато. Смотрю, у лесной тропинки немка с велосипедом возится. Цепь

слетела. Ну, я естественно, вызвался помочь. «Я-а, я-а-а!» – защебетала она. Ну, в смысле «Да-да».

– Знаем, знаем... – нетерпеливо перебили мы его.

– Я все быстро поправил. – Орех явно тянул резину. – «Данке шён!» – защебетала она и чмок меня в щеку, ну, и как бы собирается уезжать. Я слегка придерживаю ее за руку и показываю на чернику в котелке: дескать, угощайтесь, мамзель. Она снова: «Данке шён!»

– Да что ты разданкался? – не сдержался хмурый Красненко.

– Сами же просили рассказать, – притворно обиделся Орех. – Ну, в общем, берет она одну, другую ягоду: «Гут, гут!» Я тоже беру одну, другую, а следующую придерживаю в губах и несу к ее губам. Она секунду помедлила и принимает мою ягоду, и мы целуемся.

– А ты, молодой, как тут оказался? – наорали мы на невесть откуда взявшегося первогодку Ляликова. – Рано тебе еще такие вещи слушать.

– Да ладно вам, – обидно заворчал Ляликов, отходя в сторону, и его лицо по-юношески зарделось. Вообще, румянец не сходил с его лица. В благодатных местах, видать, росли его предки, и он сам. Служба, правда, у него не ахти как складывалась, зато на утренний осмотр он становился одним из первых: не нужно было бриться. Да и что было брить на девственных-то щеках?..

– Ну, а дальше? – мы снова – к Ореху.

– Дальше? – наигранно вздохнул он. – Снова подношу ягоду к ее губам, и мы снова целуемся.

– Ну и?

– Что «ну и»? А-а...Во-о! – и он торжествующе поднял большой палец...

Из курилки расходились молча. Что-то с командой на завтрак медлят... А киселя из черники наверняка и сегодня не дадут... И все-таки Орех – счастливчик...

Велосипедист Бойко

Ах, какое чудесное летнее утро! Чистое, светлое. За глухим дощатым забором, словно дразня нас, кувыркается молодое солнце, то за один ствол дерева спрячется, то за другой. А небо высокое, огромное, аж до самой России...

Топаем на плац. Плац наш, надо сказать, был не совсем обычный, то есть не общепринятый стандартный бетонный квадрат, а являл собой, по сути, огромный хорошо ухоженный газон, заасфальтированный лишь по периметру. Наверное, во всей ГСВГ, уж в нашей 2-й танковой армии точно, он был единственный такой, что подмывало любителей шагистики из соседних частей позлословить, мол, недооценивают в полку связи строевую подготовку.

Тут должен сделать небольшое отступление. ГСВГ – Группа советских войск в Германии. «Так, группа», – ухмыльнется кто-то... Но мы, представлявшие ее, хорошо знали, что она есть такое, и понимали, зачем мы здесь: впереди – противостоящая нам воинская группировка, за спиной – братья славяне и Великая страна. Это было время холодной войны, войны нервов. У той, другой стороны, они однажды дрогнули, когда в одночасье Западный Берлин оказался за бетонной стеной. Тут же двинули на нее танки, бульдозеры. Но с этой стороны уже стояли наши танки. С полным боевым комплектом...

Так вот, о строевой подготовке. Пройти «коробочкой», локоть к локтю, развернуться в движении на сто восемьдесят градусов – это мы могли. А большего от нас и не требовалось. В конце концов, не рота же мы почетного караула. Сам командир полка частенько говаривал, что главное для нас – связь. Надежная. Круглосуточная. Да и времени недоставало на эту самую шагистику...

Командир полка, как всегда, задержится. Минут на десять-пятнадцать. Видимо, считал неприличным для себя появляться на плацу тут же, вслед за нами. Он потом выкатится: щекастое пунцовое лицо, выдающийся вперед

живот (при небольшом-то росте) – помидор, да и только, как прозвали его наши предшественники, кои давным-давно уже на гражданке, обременены сугубо житейскими заботами и уж позабыли, кто такой Помидор.

Хотя вряд ли. Все, что связано с армией, у каждого, служившего в ней, надолго западает в памяти. Если не навсегда. Вот и мне нет-нет, да и привидится та или иная армейская картинка. Причем, чаще всего, забавная. В этом, наверное, и заключается жизненная закономерность: со временем из памяти, да и из сердца выветривается все дурное, грустное (а солдатская служба, да еще за кордоном, ох, как грустно!) и остается лишь светлое, доброе.

Выкатится Помидор, и первые его слова будут: «Учешный день... Военный совет...»

В переводе на нормальный язык это означало: вчера состоялось заседание военного совета армии, на котором был рассмотрен ряд вопросов, и о некоторых из них он хотел бы нас проинформировать. Что такое «некоторые из них» мы, в общем-то, знали: различные ЧП в частях (увечья, повреждение техники, имущества), козни вражеской пропаганды, предстоящий визит высокого воинского начальника, неблагоприятное по отношению к местному населению поведение нашего брата...

Это его «учешный день» доводило меня до колик.

Но вот – неожиданность: Помидор уже на плацу. И не в центре, как обычно, а далеко в стороне. Рядом с ним – его замы, комбаты, другие офицеры и...полицейские с собаками.

– Дело пахнет керосином! – проронил стоящий рядом со мной Соколов. Соколов – щеголь: гимнастерка – в обтяжку, штаны заужены (как умудрился?), пилотка – набекрень. Таким, наверное, он был и на гражданке: любителем покрасоваться. На гражданке – понятно: перед девочками. Но тут-то...

– За кем-то из нас пришли, – многозначительно заключил он.

– Оцэ дило! – аж присвистнул Балацкий.

– И чё им надо?

– Разговорчики! – строго взглянув на строй, прикрикнул взводный, старший лейтенант Терентьев. Прикрикнул он, конечно, так, для виду, хорошо понимая, что разговорчики все равно не прекратятся: уж больно пикантная картина разворачивалась перед нами.

– Какое вообще они имеют право заходить на нашу территорию? – проворчал Красненко. – Да еще с собаками.

– Имеют, имеют, – резюмировал взводный. – Сейчас все узнаем.

– О! Герой-свинопас! – выкрикнул кто-то в задних рядах, и мы, невольно улыбнувшись, повели взглядом в сторону ворот, через которые въезжала повозка с важно восседающим в ней громиллой Подопригорой.

История тут такая. Съездил Подопригора в отпуск. Смог ведь! На побывку нашему брату ох, как непросто было вырваться, даже очень непросто. Знать, водил дружбу с интендантским начальником. А спустя какое-то время в отпуск отбыл его земляк, «макаронник» (прапорщик понынешнему), – и, естественно, Подопригора попросил его заскочить к родителям и передать гостинец. Что тот и сделал и буквально был ошарашен тем, с каким почтением односельчане отзываются о Подопригоре. Он-де чуть ли не главный человек в полку, и сам командир время от времени обращается к нему за советами. А однажды на учениях спас генерала, машина которого перевернулась: на себе притащил в медсанбат, за что тот пообещал представить его к награде и дать капитана. Вот трепло...

– А лошадка-то умнее его: сама довезет тачку до столовой и обратно – на хозблок.

– На свинарник.

– А мясо и сало откуда? – буркнул Балацкий.

Взводный снова строго покосился на строй.

Полицейские ушли. Помидор покатился в центр плаца – краснее красного. Представляю, каково увидеть его такого – рядом. Как рассказывали те, на кого он обрушивал свой гнев (в основном – на офицеров и «макаронников»), чем сильнее раскалялось его лицо, тем явственнее бледнел на щеке глубокий продольный шрам. Тут уж поневоле

во всем сознаешься и покаешься. Хотя, в принципе, относились мы к нему нормально. Потому уже, что в полку он был единственный фронтовик. Подполковник Очерет.

Не буду воспроизводить его «пламенную» речь: это, как понимаете, совершенно невозможно. В общем, суть дела такова. Вчера кто-то из наших, будучи в увольнении, украл у немки велосипед.

Украл! Слово, вообще неприемлемое для немцев, чей менталитет – не тронь чужого! – формировался веками. Потому и привыкли жить, не запирая дома, не пристегивая те же велосипеды к заборам.

Следы привели в наш полк. И теперь предстояло вычислить: кто?

– На все про все – час! – отчеканил комполка.

Вычислить воришку из двенадцати человек, побывавших в увольнении, труда не составляло. Один из них, Борис Бойко, сам во всем и сознался. Объяснил это так: опаздывал в часть, увидел стоящий у магазина велосипед и решил воспользоваться им. Когда же осознал, что совершил что-то неладное, испугался, свернул к озеру и запустил его в воду.

Бойко был из соседней роты, и мы его мало знали. Слышали только, что радист он классный и что почти безвылазно торчит на армейском узле связи. А туда бездарей не берут. Понятно: отличник боевой и политической подготовки. И вот нате вам...

Велосипед нашли быстро. Тут же доставили его полицейским, а те, в свою очередь – пострадавшей. Уж не знаю, как командование выкручивалось из ситуации, но до суда, по крайней мере, дело не дошло. Естественно, пострадавшей возместили материальный ущерб. Мало ли какая неисправность могла обнаружиться у велосипеда после многочасового пребывания в воде. Возместили и моральный ущерб. Немцы в этом плане народ щепетильный.

Как-то Балацкий на своем ЗИЛе слегка, совсем чуть-чуть, задел на повороте ехавшую на велосипеде пожилую немку. (Опять велосипед и опять – немка!) Хотя, скорее всего, она сама, завидев громадину-ЗИЛ, не справилась,

как принято говорить в таких случаях, с управлением, тыркнулась колесом в бордюр, ну и, понятное дело, свалилась. Тут же подоспели полицейские, скрупулезно все осмотрели: место происшествия, велосипед, саму пострадавшую, – и составили грозный протокол. Виновнику предстояло оплатить не только ремонт велосипеда (две царапины на крыле), не только лечение расшибленной коленки немки (ладно бы, хоть молодой коленки), но и стоимость порванных колготок и, что нас вообще изумило, перенесенный ею испуг. Да, у немцев так: напугал – заплати!

Заплатили. Балацкому дали пять суток гауптвахты. Правда, уже через сутки выпустили: приближался техосмотр, и кому, как не ему приводить свой ЗИЛ в порядок.

Бойко дали десять суток. Отбыл он их полностью, как ни пыталось начальство узла связи выволить его: дескать, очень нужен, радист он – классный.

– В армии незаменимых нет! – был ответ.

Напрасно так. В армии всегда есть и будут незаменимые. Их так и называют: профи. Это уже от Бога. Таким профи и был Бойко...

Нам он потом иначе все рассказывал:

– Ужас как захотелось прокатиться на велосипеде. Два года ноги педалей не знали. Сел – и ничего, поехал...

– Зачем же было топить его? – допытывались мы. – Вернул бы на место.

– Была такая мысль. Но как представил, что там меня уже ждут полицейские и та немка. Как бы объяснил им, что просто захотелось покататься?

– Оставил бы велик у другого магазина или у аптеки, да мало ли где. Полицейские тут же бы его нашли.

– Не сообразил.

– Дурак ты, Бойко! – констатировал Соколов. – Хоть и радист классный, – и рассказал другую историю.

Я знал эту историю. Он и бульбаш Сидорович. Бульбаш, потому что обожал картофельное пюре и лучшим для себя нарядом (армейский термин) считал наряд на кухню, где такового можно было поесть досыта. Был случай, прав-

да, давний, еще по первому году его службы, когда, вернувшись из очередного кухонного наряда, он прихватил с собой (и как удалось?!) целый бачок этого самого пюре и спрятал его под кроватью. То-то смеху было. А что смешного? Ну, любит человек картошку, не насытится ею.

Так вот, блуждали они с Соколовым по лесу в надежде сбавить женские часы, привезенные тем же Сидоровичем из отпуска («крабы», анодированные, модные тогда), и наткнулись на одиноко стоящий дом. Обошли все два его этажа: «Камрад! Камрад!» Ни души. Так и ушли, ни к чему не прикоснувшись.

– Вот вам крест! – божился Сидорович.

Где в это время были домочадцы? В поле? В лесопитомнике? Работали...

Не могу представить, как сегодня живет немцам, теперь уже в объединенной Германии, наводненной мигрантами, «обласканной» русской мафией и запуганной призраком терроризма. Наверняка заборами стали ого-раживаться...

Мама, я хочу домой...

Прежде мне не приходилось видеть генерала. Да и полковники не часто встречались. Разве что на армейских учениях, у штабной палатки. Тот же полковник Сидоркин, начальник связи армии. Во, зверь был! Его у нас все боялись, за исключением, конечно, командира полка. Тот никого не боялся.

О прибытии Сидоркина, едва он миновал КПП, мы тут же узнавали и невольно настораживались. Возникнуть он мог где угодно: в учебном классе, в салоне радиостанции, аппаратной, – и непременно к чему-нибудь прицепится. Телеграфный ключ плохо закреплен (болтается), не отрегулирован телеграфный аппарат, антенные растяжки не так уложены... Так, по мелочам. Строил из себя этакого связиста № 1. Не любили мы его.

А тут – генерал. Голубая шинель с золотыми погонями. Два ряда золотистых пуговиц. Высокий, статный. Говоров! Да, тот самый: сын маршала, Героя Советского Союза Говорова, что на фотографии рядом с Жуковым. До высот отца младший Говоров, забегая вперед, скажу, не дотянет, но четыре генеральские звезды получит. И звезду Героя. За что, про что, не знаю... Но это потом. А тогда, в 60-е годы теперь уже минувшего столетия, он был просто генералом. Генерал-майором. Ну и при соответствующей должности: начальник штаба 2-й танковой армии.

Однако ж в свои сорок. Во всех Вооруженных Силах СССР он был, пожалуй, самым молодым генералом. Рассказывали, на банкете по случаю присвоения генеральского звания к нему подошел кто-то из штабистов и в довольно фамильярной форме, насколько это позволяла обстановка, выпалил:

– Вот вам, Владимир Леонидович, сорок, и вы уже генерал. Мне тоже сорок, а я все еще капитан.

– Служить надо лучше! – взвизгнул кто-то из окружения.

Говоров знаком руки одернул его, и уже на следующий день тот капитан стал майором.

Но, как известно, солдату нечего робеть перед генералом: где генерал и где солдат? Для генерала солдаты – так, перманентно изменяющаяся масса: сегодня одни, завтра другие. И, тем не менее, бытовало крепкое поверье: генерал для солдата – что отец родной. Даже этакий либерал. По крайней мере, никогда не станет по мелочам распекать, тем более, новобранца. Подумаешь, неумело честь отдал. Лишь пожурит отечески. А вот офицеру врежет: «Лейтенант, плохо воспитываете подчиненных!»

Особым почтением у генералов пользовались ефрейторы. Ефрейтор в иерархии воинских чинов – самое первое командирское звание, типа старший солдат. От генерала его отделяют тринадцать этих самых ступеней. Тринадцать! Мистика, да и только. Неспроста поэтому ефрейтора называют тринадцатым заместителем генерала...

Говоров наезжал к нам частенько: в преддверии армейских учений, когда и генеральское напутствие не лишнее, на подведение итогов инспекторской проверки, просто по случаю праздничной даты – Дня Победы, 23 февраля, дня части.

Судя по всему, он курировал наш полк, что, в общем-то, было логично: штаб и связь – неразделимы. В данном случае – армейский штаб и армейский полк связи, коим мы являлись. Назову и полное его название: 5-й отдельный гвардейский Демблинско-Померанский орденов Александра Невского и Кутузова полк связи. Титулы и регалии – признание боевого пути полка...

Вот и опять Говоров к нам пожаловал. После ужина (селедка с картофельным пюре, теплый чай) велели собраться в клубе. После, сказали – кино: «Неуловимые мстители». Так что уж не знаю, чего больше мы ожидали: генерала или киношку.

В последнее время то ли по инициативе Тихони, как мы называли завклубом (Неприятный был человек. Ходил неслышно, как кошка. Что за сапоги у него такие были?), то

ли по указанию комполка, что всего вернее, нам все чаще стали «крутить» кинокомедии. Понятно, чтобы жить нам, солдатухам-ребятушкам, было веселей.

Так вот, про Тихоню. Бывало, стоим в курилке или где-нибудь в тенечке, глядь – он рядом. Как, откуда взялся? Зыркнет тусклыми глазками и засеменит дальше, словно он не кадровый офицер, а солист ансамбля «Березка». Да и фамилия у него была соответствующая: Марфушин. Даже честь не хотелось ему отдавать. И не отдавали. По крайней мере, «старики». А он делал вид, что не замечает этого...

Приехал Говоров не один. По дороге заехал в гарнизонную кутузку и забрал наших «героев». Человек пять или шесть – сержантов, рядовых. Один попался в самоволке, у озера, причем совершенно по-дурацки: спрятал одежду в кустах и развалился на травке рядом с немцами, полагая, что патрули (а они вдоль озера так и шастают) ни за что не догадаются, кто он. А то, что на руке синело «Вася», не учел. Вот на этом «Вася» и попался. Другой – загнал немцам канистру бензина. Третьего обнаружили спящим на посту. Был тут и Бойко, ну тот, который угнал немкин велосипед.

Говоров по одному поднимал их на сцену и – давай... Нет, не чихвостить, а как бы это сказать точнее, стыдить. Заводил примерно такой разговор:

– Откуда родом, боец?

Тот отвечал.

– Расскажи про свой город.

Тот, ничего не подозревая, рассказывал.

– Вот видишь, какая легендарная твоя земля! Что же ты позоришь ее? Землю потомственных металлургов, хлеборобов... Позоришь своего отца-фронтовика.

Гауптвахтники – в смятении. Да и нам, сидящим в зале, тоже было как-то не по себе: уж больно проникновенными были те слова.

И еще объяснял нам, зачем мы здесь. Затем, что там, по ту сторону западной границы, – они. И весь сказ.

Мне вообще-то казалось странным: Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме фашистской Герма-

нии, взял Берлин, вместе с союзниками добил гитлеровцев, и теперь союзники – враги...

Потом Говоров приехал на подведение итогов инспекторской проверки, завершившейся опросом личного состава, причем, каждой его категории в отдельности. Была такая форма армейской демократии.

Выглядело это так. Полк выстраивается на плацу. В центре, на лужайке – генерал Говоров со свитой, полковое начальство. Помидор командует:

– Командиры батальонов и заместители командиров батальонов – тридцать шагов вперед. Командиры рот и заместители командиров рот – двадцать пять шагов вперед. Командиры взводов – двадцать шагов вперед. Старшины, сержанты – пятнадцать шагов вперед. Шагом марш!

Солдаты – на месте. К ним Говоров в первую очередь и направился: как служится, есть ли какие жалобы, что пишут из дому?

Так вот подходит он, как потом рассказывали, к Димке Громыко. Громыко – видный, длинный и, кстати, ефрейтор. Может, потому Говоров и выбрал его первым. Димка, естественно, по стойке смирно, отрекомендовался.

– Громыко? – удивился генерал. – Родом откуда?

– Из Гомельской области, товарищ генерал.

– Понятно! – протянул удовлетворенно Говоров.

– У нас полдеревни Громык, – продолжил, польщенный генеральским вниманием Димка.

Говоров улыбнулся:

– А скажите, ефрейтор Громыко, вам, как радисту, какие сигналы легче принимать: низкие или высокие?

– Низкие, товарищ генерал.

– Почему?

– Не знаю, товарищ генерал.

И Говоров прочитал ему и всем, кто был рядом, целую лекцию о физиологии уха.

– Умный такой! – с восторгом потом отзывался о генерале Димка.

И еще Говорову приглянулся Ляликов: выглядел тот уж очень юно – совсем ребенок. Говоров почему-то поинте-

ресовался его портянками: чистые, мол, не рваные? Ляликов, огненно смутился:

– Никак нет, товарищ генерал, не рваные!

– Ну-ка снимите сапог.

– Какой, товарищ, генерал?

– Любой.

Честно, неловко было смотреть, как Ляликов, прыгая на одной ноге, снимал сапог с другой.

– Он еще б кальсоны проверил, – съехидничал кто-то.

– Они уж точно без завязок. Или – с одной.

– Еще и в столовую зайдет, солдатские щи похлевать.

– Показуха все это.

– А то не знаешь. Забыл, как дерном газоны у штаба устилали...

Говоров, видимо, удовлетворенный состоянием портянок Ляликова, двинулся дальше. А дальше было еще прикольнее. Кто-то из молодых пожаловался, что вот уже полгода не слышит трансляции Гимна Советского Союза. А и вправду, как ее услышать? Здесь шесть утра (подъем), в Москве – восемь, гимн отзвучал. У нас – отбой (десять вечера), в Москве – полночь, гимн опять отзвучал. Генерал задумался. Велел подать ему завклубом. Тот мигом подскочил на своих неслышных сапожках.

– В общем, так, – приказал ему Говоров, – трижды в неделю приглашайте рядового (назвал фамилию) в кинорубку и «крутите» ему Гимн.

Анекдот, да и только! Хотя, должен сказать, эпизод этот не остался не замеченным, и гимн в полку стал звучать чаще: по всем торжественным случаям и поводам...

А генерал уже направляется к нашей, сержантской шеренге. Мы с Красненко стояли рядом, и вопрос у нас был один: отпустят ли поступать в вуз? Дело в том, что накануне мы с ним окончили курсы офицеров запаса, что давало нам право на поступление в вуз и, следовательно, на досрочное (на три-четыре месяца раньше) отбытие в Союз. Чем не счастье! Даже если не поступим, дослуживать будем в ближайшем тамошнем гар-

низоне. А это, считай, уже дома! Но ходили слухи, что из-за границы в вузы отпускать срочников больше не будут. Так ли это?

С Красненко мы договорились: к кому первому генерал подойдет, тот и обратится к нему с вопросом. Говоров остановился напротив меня. Я, естественно:

– Начальник радиостанции, гвардии старший сержант... – и смотрю ему в глаза. Он тоже смотрит мне в глаза, что меня немало удивило: обычно офицеры при приеме рапорта или доклада смотрят куда-то мимо, вдаль.

– Какой радиостанции? – спрашивает он.

– Эр-112-й, тропосферной, – товарищ генерал.

Он повернулся к стоящему рядом начальнику связи армии.

– Таких станций две, – пояснил тот. – Одна в Вюнсдорфе, в штабе группы*, другая здесь, в полку связи. Это совершенно новые станции, на двух машинах.

– Ну и как станция, надежная? – снова обращается ко мне генерал.

– Надежная, товарищ генерал.

Не стану же я ему рассказывать, как намучились мы с ней. И кому там, наверху, пришло в голову использовать ее как передвижной вариант? Абсолютно стационарный. Только на разворачивание антенны (огромный дюралевый куб, поднятый на 12-метровую высоту) требовалось по нормативам полсутки. И столько же – на сворачивание. Два-три раза повозились мы с ней, и начальство сказал: «Хватит! Переходите на резервную».

Слава богу, была и такая, телескопическая. И оказалась она ничуть не хуже (по дальности связи) того дюралевого куба. К тому же с ней можно было работать в движении.

– С кем держите связь?

– С узлом связи группы войск, с армейскими частями и соединениями, с немецким батальоном связи ... – А у самого одна мысль: как бы перейти к нашему с Красненко вопросу.

* Группа Советских войск в Германии

– Это хорошо! – одобрительно заметил генерал. – Письма домой пишете?

– Так точно! – товарищ генерал.

– Последний раз, когда написали?

– Неделю назад, товарищ генерал, – соврал я.

Он проницательно посмотрел на меня: конечно же, не поверил. Да и знал, что на последнем году службы солдаты редко пишут письма. Все мысли их о дембеле.

– Товарищ генерал, разрешите вопрос?

– Вопрос? Пожалуйста!

Я объяснил ему суть нашей с Красненко ситуации. Он некоторое время помолчал:

– Да, практика такая прекращена. Есть приказ министра.

Тут же к нему приблизился кто-то из свиты:

– Приказ номер... Запретить направление военнослужащих срочной службы из частей, дислоцирующихся за пределами Советского Союза, для поступления в высшие учебные заведения...

Прозвучало как приговор. Вот она, правда! А от нас с Красненко всячески скрывали ее. Почему? Зачем? И что в таком случае я должен был ответить генералу? «Служу Советскому Союзу!» «Так точно!» «Понял!»

Я промолчал, чувствуя, как сердце словно провалилось. Такое же наверняка было и у Сашки Красненко.

– А то, что окончили курсы офицеров запаса, – продолжал генерал, – молодцы! Стране нужны офицеры. – И пошел дальше.

Свита двинулась за ним.

Я взглянул на Сашку. Обычно краснощекий, он был бледнее мела. Пальцы его сжимались в кулаки:

– Кинули нас, Колька! А как уговаривали! «Закончите курсы, поедете поступать...»

– Д-а-а. Обидно.

И я понял, нутром, кожей почуял, что служба моя отныне закончилась. Да, я еще могу по привычке вставать, есть, пить, забрасывать «калаш» за спину, долбить «морзьянку», но это уже будет не служба. Так, отбываловка. Мама, я хочу домой...

«Прибыть на КПП!..»

Армия без розыгрышей, приколов – не армия. Подшучивали, конечно, над новобранцами, дабы те скорее прониклись службой, загранкой.

Поступил к нам некий Маркин – маленький, бледненький, весь какой-то потерянный. Все у него как-то не получалось: ни физо (перекладину ох как не любил, а «коня» вообще боялся), ни строевая – чем выше тянул ногу, тем более получалось вразвалку, ни стрельба. Не вышел из него и радист: что-то упустили отцы-командиры при его отборе или, как бы сейчас сказали, тестировании.

Вспоминаю, как у нас это было. Заходим в класс («А у нас – радиокласс!» – родился потом каламбур), рассказываемся, с любопытством взирая на привинченные к столам телеграфные ключи – видели их разве что в кино.

– Ну, что? – улыбается лейтенант в новеньком, без единой складочки кителе, свежие звездочки на погонах, – будем учиться на радистов?

– Будем! – хватаемся за головки ключей.

– Э-э, – рановато! – сдерживает он наш порыв. – Сначала посмотрим, на что вы способны. – И стал по одному подзывать к себе и тыльной стороной указки что-то выстукивать на столе: повторите.

Как могли, повторяли непонятную нам тарабарщину. Снова отстукивает, и снова повторяет. И так три-четыре раза. И что-то записывает в тетрадку. Потом спрашивает:

– На каком-нибудь музыкальном инструменте играете?

Позднее я понял, к чему такой был вопрос: радист все-таки должен обладать музыкальным слухом. В самом деле, не считать же эти самые точки и тире. Каждую букву, цифру «морзянки» нужно воспринимать нараспев, как мелодию. Например, цифра **7**: дай, дай за-ку-рить – две точки, три тире (. . – – –). Цифра **1**: дай по-це-ло-вать – одна точка, четыре тире (. – – – –). Буква **Б**: ба-а-ки-те-кут – одно тире, три точки (– . . .). Буква **Л**: лу- на-а-ти-ки – два тире, две точки (– – . .) и так далее...

На следующий день объявили: таких-то – в радисты, таких-то – в телеграфисты, а таких-то вообще – в линейщики. Линейщик (тяни кабель!) считалась самой не престижной связистской специальностью.

В линейщики Маркина и перевели.

И вот сидим как-то после ужина в казарме – кто подворотничок подшивает, кто расслабившуюся пуговицу закрепляет, кто, притащив из каптерки дембельский чемодан (на втором году службы уже полагался таковой – большой фибровый с грудастыми немочками внутри и видами городов – снаружи), в сотый, наверное, раз складывает-перекладывает содержимое.

– Шмоточки! – ехидничает ротный. – До дыр все протре!е!

– Не протре, товарищ капитан, – отвечали мы. – Подарки – дело святое.

Да, подарки готовили – родным, близким. К тому же подарки – заграничные и в некотором роде даже необычные, тем более на фоне повального товарного дефицита в Союзе. Поэтому всячески старались сберечь ежемесячные пятнадцать-тридцать марок (солдатские, сержантские), плюс десять-пятнадцать марок – за классность. А на что их еще было тратить? Вот с гарнизонным магазином и дружили...

Золотистая с бахромой скатерть – маме. (Вот она, эта скатерть! До сих пор, как новенькая!) Папка, темно-зеленая, с резинками-застежками, извините за каламбур – отцу; синяя гэдээровская «пионерская» рубашка – брату; прозрачный шарфик – племяннице. Набор многоцветных шариковых ручек (редкость тогда в Союзе), открытки, журналы с фривольными картинками...

И вдруг по селектору:

– Рядовой Маркин, срочно прибыть на КПП! Вас ждут родители.

Маркин замер. Глаза счастливо-испуганные. Вскочил, и как был, без ремня, в расстегнутой гимнастерке – к выходу.

– Маркин, ты куда?

– Пусть пробежится, – хихикнул Соколов. Собственно, он и подговорил дежурного по КПП сделать такое объяв-

ление. Тот, конечно, понимал, что за такое может влететь, но уж больно велик был соблазн разыграть молодого.

Проходит пять, десять, пятнадцать минут – Маркина нет. Наконец, является:

– Разыграли...

Продолжаем ржать:

– Маркин, неужели ты поверил, что родители – на КПП? Тут же Германия.

– Да нет. Ноги сами понесли. Потом все понял...

Шутка, конечно, грубоватая. Армия вообще штука грубая, чему тут удивляться? Грубые подъемы, караулы, грубая шинель, грубый казарменный быт, грубая пища (рубон) – закалка души. И все же, как не встрепенуться ей, душе, при словах «дом», «родители»? Это в Союзе солдатам – лафа. К ним и родители могли приехать, и посылку, денежку могли прислать (к празднику, ко дню рождения). Нам о таком и не мечталось. И увольнения у них как увольнения: кино, танцы. Можно и подружку завести. Опять же проще на побывку съездить. Отсюда попробуй, выберись.

– Слишком накладано! – твердили нам. – Зато вы экипированы лучше.

Да, сапоги у нас были яловые. У ребят в Союзе – кирзовые. И ремни кожаные, у них – кожезаменитель. Еще была шерстяная гимнастерка – на холода. Вот и все наши преимущества. Право же, они бледнели перед всем тем, чем были обласствованы, другого слова не найти, ребята в Союзе. Не зря бытовала присказка: «Лучше ходить в кирзе, но в Союзе, чем прозябать в яловых сапогах в Германии»...

Но бывают же такие невезунчики – я все про Маркина. Как-то поутру объявили сначала, понятно, о форме одежды, кажется № 1: с голым торсом, потом – совсем неожиданное:

– После физзарядки – купание в озере.

– Наконец-то! – загудели мы.

А надо сказать, мы давно просили заменить утреннюю физзарядку, естественно, в теплое время года, купанием

в озере. Тем более, что располагалось оно совсем рядом, километрах в двух.

Непростое это озеро – Шведтзее его название – и не просто говорить о нем. Да, гладкое, да, спокойное – словно замерло. Зеленые берега впереди, справа, а налево, где чернеет скульптура (согбенная с обессиленным ребенком на руках женщина), глядеть не хочется. То знак Равенсбрюка – бывшего концентрационного лагеря (чудовищней не придумать) для женщин и детей. За семь лет, с 1938 по 1945 год через него прошли более двухсот тысяч узников – цыганок, евреек, полек, француженок, англичанок, бельгиек, русских... Рядом – крематорий с широкой трубой. Рассказывали, дно озера в этой его части до сих пор устлано пеплом сожженных. Страшное место, пусть это теперь и мемориальный комплекс. Не глядеть бы в его сторону!

Прибегаем, сбрасываем сапоги, штаны и – с криками и визгами с мотков – в воду. И надо же было такому случиться: кто-то в прыжке угодил Маркину ногой в голову. Тот захлебнулся, забарахтался. Вытащили. Бледный, с дрожащими губами. О случившемся, естественно, доложили командиру полка.

– Все! – сказал он. – Отныне никаких купаний.

Конечно же, купались: будучи в увольнении, просто отлучаясь в автопарк, от него до озера – рукой подать...

«Прибыть на КПП!..» Нет, я уже не про Маркина, а о команде как таковой. Команда – обычная, обыденная: то дежурных по ротам вызовут, то срочно кто-то из офицеров или «макаронников» потребуется. И лишь однажды звучит она... Господи, какие слова! Вслушайтесь: «Отбывающим на Родину прибыть на КПП!»

Только не надо думать, что в казарме начинается что-то невообразимое: крики, возгласы дембелей. Ничего подобного. Дембеля – серьезней серьезного и даже какие-то сосредоточенно-напряженные, словно все еще не верят в свершившееся (вдруг последует команда «Отставить!»?). Молча, деловито поднимают свои чемоданы и, не спеша, направляются к выходу. Мы – следом. Нет, мы

не завидуем им, просто радуемся за них. Отслужили свое ребята...

А накануне казарма практически не спала. Каждому хотелось чем-нибудь услужить дембелю: подворотничок подшить, китель отгладить, бляху отдраить, ту же «гармошку» на сапогах смастерить. Была тогда такая мода на дембельские сапоги: «в гармошку». Были и мастера на сей счет. Делалось «гармошка» просто: с помощью раскаленного утюга. Ну, и еще нужны были сильные руки.

Старшина, понятно, будет ворчать, мол, утюг угробили. А то не понимает: дембель должен быть – с иголочки. Кстати, о сапогах: новехонькие. Будто только со склада. На самом же деле выдали их еще полгода назад. Но так принято было у дембелей: донашивать старые, битые-перебитые сапоги, а новые держать уже – до дому.

Вот они построены у КПП – дембеля всего полка (последнее их построение). Вот уже отзвучали напутственные слова командиров, благодарность за службу. Выдан сухой паек (до Союза добираться суток двое, не меньше).

– По машинам! – команда.

Неуклюжие объятия. Да просто барабаним друг друга по спине, пряча увлажненные глаза.

Вот они уже миновали КПП (в последний раз). Протяжный рев клаксона. Прощайте!

Следующие – мы.

...А Маркин, к нашему удивлению, оказался отличным стрелком. Когда выезжали на стрельбище, пусть и не так часто, как этого хотелось, в соседний мотострелковый полк, валил мишени одну за другой – лежа, с колена, на ходу. Как потом признавался, на гражданке не расставался с мелкашкой. Маркина хвалили, ставили в пример. А как-то на совместных с родственным нам немецким батальоном связи соревнованиях по стрельбе его командир вручил ему какой-то приз и спросил при этом, не сибирский ли он охотник.

– Нет, – отвечал Маркин. – Я из Ярославля.

Немецкие солдаты угощали нас сигаретами, кругленькими, с фильтром, а мы их – своими, махорочными.

– Гут, гут – задыхаясь, кивали они...

Мы с ними – ровесники: по двадцать с хвостиком. Столько же лет минуло и со времени окончания войны, и, значит, их и наши отцы, по крайней мере, многие и многим из них бились один против другого. Уж деды – точно. А сегодня мы, дети и внуки их, как ни в чем не бывало, раскуриваем сигареты...

А еще был случай...

Случай вообще нелепый, если не сказать – комичный.

Прибыли мы на учения. Тут же, естественно, сбежалась местная немчура:

– *Абцайт! Абцайт!* – (Значок! Значок!).

Дело обычное. У каждого из нас на такой случай всегда была припасена звездочка или эмблема:

– *Битте!* – Ну, и занялись своими спешными делами: антенны, движки, кабельные, телефонные сети...

Примерно через час – общее построение, как это было принято после завершения разворачивания узла связи. Суть построения – проверка наличия документов (военный, комсомольский билеты), снаряжения: автомат, подсумок, противогаз. И тут выясняется: рядовой Стежкин – без автомата. Боже! Жалко, на него было глядеть: сиротинушка, да и только.

Комбат Ермолаев – в бешенстве. Его и без того пепельно-серое лицо стало черным.

– Где автомат? – за шкирку Стежкина.

Тот, трясясь, объясняет:

– Примкнул в кабине «УАЗика». А куда потом делся, не знаю...

– Разжалую! – сатанеет комбат, имея в виду, конечно же, не Стежкина – рядового-то! – а его командиров: сержанта и взводного. – Прочесать лес!

Прочесали, в одном, другом направлении, заглядывая под каждый куст. Нет автомата. И все больше убеждались: увели. Те самые пацаны, что накануне толкались тут. Зачем, с какой целью? В конце концов, автомат не игрушка. Возможно, вертелась мысль, сделали они это по назиданию кого-то из старших, из числа тех, кто люто ненавидел и ГДР, и СССР. А таковых было немало. И называли они нас не иначе, как оккупантами...

В общем, зря всю ночь в лесу проторчали. И все более становилось очевидным: надо обращаться в полицию.

– Никакой полиции! – отрезал Ермолаев. – Окружить лес! Не дать им уйти!

Глупее ничего нельзя было придумать. Ведь за это время пацаны (а уже никто не сомневался, что это их рук дело) дважды и трижды могли выйти из леса. Комбат, видимо, это и сам понимал, но сработала в нем армейская логика: предпринять все возможное, пусть и явно бесполезное, дабы не быть обвиненным впоследствии в бездействии. Своего рода инстинкт самосохранения.

Ермолаев. Почти Ермолов. По крайней мере, стремился походить на легендарного генерала, более всего, строгостью и даже жестокостью. Он словно заведомо видел в каждом из нас нарушителя, сачка, хитреца и уже не знаю, кого, и, похоже, даже ликовал, когда удавалось уличить кого-нибудь в провинности. Уткнется маленькими черными глазками: «Ну что, попался? Всех вас насквозь вижу».

Мне как-то объявил трое суток гауптвахты. Работали мы в подшефном кооперативе, помогали убирать картофель, свеклу – уже не помню. Или просто колоски собирали. Случалось и такое. Немцы в этом плане народ прагматичный: ничему из выращенного пропасть не дадут. Рабочих же рук в кооперативах, как и у наших колхозов, совхозов, недоставало. И, как и у нас, к уборочной привлекали армию, свою, гэдээровскую. Нередко обращались и к нашим воинским частям.

А нам – и в охотку. Все – не казарма. А если учесть, что многие из нас были из села, и вообще труд на земле ни для кого не был в диковинку, то – и в радость. Помощь наша, понятно, была не безвозмездной: в часть возвращались с машинами, груженными картофелем, овощами. Как-то даже тот кооператив подарили нам набор духовых инструментов. Потом, на какой-то праздник, представители его приезжали к нам. Играли наши ребята, что надо. Откуда и таланты взялись?..

Словом, в обеденный перерыв, наскоро похлебав щи и проглотив кашу, мы с Балацким, с нами еще кто-то из ребят, решили смотаться в деревню и вручить немочкам, которых я накануне фотографировал, снимки. Это километ-

рах в пяти. Едем. Дорогая узкая, справа и слева кружатся яблони. Вдруг стук по кабине:

– Комбат сзади!

– Оцэ дило! – встрепенулся Балацкий, всматриваясь в боковое зеркало: Точно, его «уазик», – и смачно выматерился.

– Тормози! – говорю ему, а ребятам, высунувшись из окна: – На пол!

Уазик», подняв столб пыли, остановился впереди.

Гневу комбата не было предела:

– Куда? Зачем? Кто разрешил?

Пытаюсь объяснить, что везу фотокарточки в деревню и что это он, комбат, попросил меня сфотографировать нас с местными жителями и даже торопил меня с фотками. Слова не дает сказать. Потом поднимается на подножку и заглядывает в кузов. А там... Три затаившихся гаврика – ладно, там, на дне кузова – яблоки. Тысячу, сто тысяч раз нам объясняли, что яблоки у немцев, неважно где, в саду, вдоль дорог, рвать нельзя. Да еще вместе с ветками...

Вот и объявил мне трое суток губы. Правда, потом сделал вид, что позабыл. Я же, в свою очередь, не доложил, как того требовал устав, об объявленном мне аресте ни взводному, ни ротному. И дело ушло в песок. Так я думал. Нет, ничего он не забыл и потихоньку доставал меня. То прикажет стенд какой-то срочно оформить, то какую-то схему начертить, то еще что-то. Причем, это его «срочно» всегда приходилось на воскресный день, когда все отдыхали, или кино. А кому было жаловаться?..

Поджарый, черный. И никогда не улыбался. Говорили, что его мучила язва. Так в армии больных не держат. Еще говорили, что у него в семье нелады. А какие с таким могут быть лады?..

Не знаю, доложил ли он о «ЧП» командиру полка (тот находился в расположении другого батальона) или решил повременить, надеясь, что к его приезду автомат удастся разыскать? Наверное, все же доложил. О таком – утрате боевого оружия – вплоть до министра обороны полагалось докладывать...

Словом, раскидали нас вдоль опушек, у дорог. Так до утра и просидели (пролежали), куда кого определили, вглядываясь в силуэты черных деревьев, прислушиваясь к звукам просыпающегося леса. Никого.

А ночь, выдалась темной и довольно прохладной: стоял поздний сентябрь. Да и всякие мысли в голову лезли. А что, если тот, ну, который с автоматом, совсем где-то рядом? Вон и ветки потрескивают. Или вообще – сзади зашел? А если у него еще и патроны? Нам же патроны не выдали. В общем, дурная ночь и дурные мысли...

К завтраку собрали нас. Уже было известно: обратились в полицию. А что еще было делать? К тому же к полудню прибудет комполка.

В течение, наверное, часа автомат был найден. Сделали это полицейские просто: заезжали в одну, другую деревню и приказывали всей детворе собраться на площади или у какого-то главного здания. Те тут же прибежали. Некоторые в сопровождении взрослых – таких же, как и они, напуганных-перепуганных: полицейские для немцев – это серьезно. Очень серьезно.

Стежину и еще двум-трем солдатам, находящимся в комбатском «уазике», велено было узнать вчерашних визитеров. Узнали. И не одного. Те, размазывая слезы, все рассказали: да, был среди них такой Ганс, он постарше их, он-то и взял автомат.

Домой, к Гансу!

– Его нет, – бледнея, отвечали родители, владельцы аптеки, что, кстати, нас очень удивило. Как владельцы? Частная собственность что ли? Против которой выступал еще их Маркс? У нас, например, в стране победившего социализма, в стране Ленина, продолжателя дела Маркса, такого нет и быть не может. У нас все и вся – государственное. Потом мы узнали, что в ГДР еще и парикмахерские – частные, и ремонтные мастерские, и вообще вся сфера услуг.

– Где он? – вопрос полицейских.

– Наверное, у бабушки. Это в соседнем хуторе.

Рванули к бабушке. Там этого Ганса и нашли. На чердаке. Так он, мерзавец, услышав голоса на лестнице, с грохотом открыл люк и, встав над ним, наставил вниз автомат. Все прижались к стене. И тогда капитан Кашин, наш интеллигентнейший капитан Кашин, выхватил из кобуры пистолет и с матом-перематом, переходя на дискант, бросился наверх. Немчуренок дрогнул. Автомат с грохотом покатился по ступенькам. Кашин мигом подхватил его, оттянул затвор и с облегчением вздохнул: пусто.

Немчуренка полицейские тут же скрутили. Защелкнули наручники и на запястьях родителей.

– Держи, растяпа! – сказал капитан Кашин, протягивая автомат Стежкину.

– Тот радовался, как ребенок.

– Стоп! – придержал Кашин автомат: номер назови.

– АКМ 598437, – отчеканил Стежкин.

– Надо же?

– Да я его теперь под подушкой буду держать, – выпалил Стежкин, все еще опасаясь глядеть в сторону комбата. Тот обжигал его испепеляющим взглядом.

Инцидент тот явился хорошим уроком для всех нас: отныне при выезде на учения велено было выставлять часовых не только по периметру узла связи, но и у каждой радиостанции. И ни пацанов, ни кого другого и близко не подпускать. Ведь то, что случилось со Стежкиным, могло бы случиться с каждым из нас. Довольно благодушничать!

Вот и вся история. Что было с тем Гансом? Говорят, был суд. Скорее всего, присудили штраф его родителям, и им наверняка пришлось расстаться со своей аптекой. А там не знаю...

Как Ляликов разгонял помехи

День начинается медленно. Солнце низкое, едва-едва пробивается сквозь еловые лапы – сонное, что ли? И – тишина. Мы уже позавтракали, расположившись прямо на траве под соснами. На ПХД (пункт хозяйственного довольствия), понятное дело, сбегал молодой – Ляликов. Каша, чай в термосе. Перекурили.

– Ладно, – сладко потянулся Балацкий. – Пойду движок заводить.

– Да рано еще, – смотрю на часы. – На связь выходить где-то в десять.

– Пока раскочегарю...

У него, механика-водителя, одна забота: чтобы работали движки, их два – по очереди. А движки эти, ох, как тяжеленные! Всякий раз так намучаемся, пока выгрузим их из салона. А еще и оттащить надо метров на двадцать-тридцать, чтобы не очень на нервы действовали. Тарахтят ведь, без умолку.

– Заодно частоту проверю, – поднимается вслед за Балацким слухач Асмикович.

– Какой же без этого парадок? – подразниваю его.

– Да, парадок! – смеется он.

Асмикович в нашем экипаже недавно, его временно командировали к нам с учетом того, что Ляликов радист пока еще слабенький. А слухачом Асмиковича прозвали потому, что лучше всех в роте ловил «морзьянку». На ключе, правда, не так был силен: никак не мог нарастить скорость, к тому же на каком-то знаке, скорее всего, на букве **Ц** (*та-а-ти, та-а-ти*; тире – точка, тире – точка), цапля, как мы ее называли, коварная буква, «сорвал» руку. Для радиста «сорвать» руку – беда. Все равно, что пианисту сломаться на каком-нибудь пассаже. День и ночь потом будет мучиться над ним. Так и радист. Не идет знак, хоть убей. Уже при одном его виде рука – колом. Из-за него, проклятого, вообще приходится снижать скорость...

Но, как говорится, каждому – свое: кому-то больше удается работа на ключе, кому-то – прием этих самых точек, тире. Асмиковичу – прием. Плавно, спокойно ходил его карандаш. Со стороны даже могло показаться, что Асмикович уснул. Но вот «морзянка» смолкла, а он все записывает, записывает. «Это же какую память надо иметь, чтобы держать в голове десять-пятнадцать знаков?» – недоумевали мы.

А был случай вообще потрясный. Дежурили мы на армейском узле связи. Спать запрещено, но мы все же ухитрялись, подменяя друг друга, прикорнуть. Вот и Асмикович расстелил под столом газетку, сверху – шинельку и улегся. Даже захрапел. И – ожил наш «Молибден», как окрестили мы тумбу-приемник, по аналогии с одноименным позывным, таинственным и суровым – генштабовским, как нам намекали. Выскакивал этот «Молибден», вот именно выскакивал, раз в месяц и всякий раз неожиданно, и всего на несколько секунд. Знать бы этот день, час, минуту, секунду. Протрещит коротко и – адью! Не принять сигнал «Молибдена» – «ЧП». Запрашивать же повтор – нелзя: связь односторонняя.

Мы схватились за карандаши. Успели. Но какие-то знаки всё же упустили. И тут выползает из-под стола Асмикович с обрывком газеты в руках:

– Вот!..

Мы чуть ли не с объятиями:

– Ну, Асмикович, ну, ас!

И, конечно же, подшучивали над его белорусским «парадок». А повод сам дал. Дежурил как-то по классу: протер доску, столы, вымыл пол, – и тут вваливается наш брат в грязных сапожищах. Что тут стало с Асмиковичем? Набычился. И на одном дыхании с матерком:

– Какой в... парадок? Как дам трапкой по бруху!

Это его «парадок» и прилепилось к нему...

Затараторил движок. Молодец Балацкий: с полуоборота завел. И вообще, движки его работают, как часы.

– Все нормально! – слышу довольный голос Асмиковича (не стал говорить «парадок»). – Волна чистенькая!

– Проверь еще «запаску»! – кричу.

Запасная частота – наша спасительница. Бывало, сидишь на основной, и вдруг как обрушатся на тебя свист, гул, треск, а глушители были мощные, свои же, из соседнего батальона. Что делать? Скорее – на запасную частоту, благо твой имярек заранее извещен о ней, еще при установлении связи – так положено было. А если и запасная забита? Тогда, как говорится, полный кердык. Потому-то и стерегли «запаску», время от времени (в перерывах между радиосеансами) заходя на нее и прочищая неистовым зуммером. После такой экзекуции частота становилась, что водная гладь.

– Асмикович! – зову его. – Дело есть.

– Щас! – присаживается рядом.

– Давай разыграем Ляликова.

– Как? – а в глазах бесенята.

– Ты только молчи или поддакивай.

– Ладно!

– Ляликов! – зову Ляликова.

– Иду, товарищ сержант! – он как раз заканчивал мытье котелков.

– Слушай, Ляликов, что-то у нас со связью плохо. Помехи, наверное. Ты это, наломай еловых веток, да побольше, заберись на крышу и разгони эти самые помехи.

– Ладно! – с некоторым недоумением отвечает он.

– Эх, Ляликов, Ляликов! Когда же ты, наконец, поймешь армию? Не «ладно», а «Так точно!»

– Так точно, товарищ сержант!

– Ну вот, другое дело. Только поскорее!

– Хорошо!

– Опять...

– Есть! – повеселев, выкрикнул он.

Асмикович все уже понял и с трудом сдерживал смех.

– Да погоди ты. Самое интересное впереди.

– Догадываюсь. Сам придумал?

– Нет, когда-то «старички» научили.

Прибежал Ляликов с огромной охапкой веток, вскарабкался на крышу станции и давай размахивать ею.

– Ну, как? – кричит сверху.

– Да пока неважно, – отвечает ему из салона Асмикович. – Ты посильней, посильней.

Бедный Ляликов! Старался он изо всех сил. Ветки уже вываливались у него из рук.

– Отлично! – голос Асмиковича. – Связь есть!

Ляликов, довольный, чуть ли не спрыгивает с крыши, видимо, действительно, считая, что сделал доброе дело, и в тоже время не понимал, отчего мы смеемся.

– Слушай, Ляликов, – спрашиваю его, – ты в школе физику изучал?

– Ну да.

– Что значит «ну да»?

– Так точно!

– Зачем же тогда? – и, давась смехом, показываю на антенну.

– Так это... – и тоже смеется.

– Ладно, Ляликов, – хлопаю его по плечу. – Ты это, адресок заочницы дай. Обещал ведь.

– Хорошо.

– Опять...

– Есть дать адресок!

Мода такая у нас была: на заочниц. Где добывали их? В журналах, газетах. Мелькнет некая симпатяга, понятно, передовик производства, общественница, и кто-то из нас тут же – письмишко на ту фабрику, в тот совхоз, так, мол, и так служу за границей (на это давили), скоро дембель, хотел бы познакомиться. Но в основном заочниц поставляли новобранцы. Новобранцы вообще были для нас как вестники из другого мира. Мы буквально пытали их: как там одеваются, что танцуют, какая музыка, фильмы? И даже просили показать: как именно танцуют этот самый твист. Ну, и естественно:

– Адресочек дай!

Те с легкостью (жалко, что ли?) давали адреса знакомых девчонок, втайне радуясь, что потрафили «старикам».

Переписка, понятное дело, начиналась с обмена фотками. Не могу сказать, что всякая такая заочная связь заканчивалась судьбоносно, собственно та и другая сторо-

на понимала: игра все это. С одной из заочниц, например, мы переписывались всем хором. Представьте себе, приходит в роту письмо: «Самому красивому солдату». Мы даже оторопели: кто же из нас самый-самый? Ну, и чтобы не препираться, решили писать ей сообща.

О, это целая история, которая вполне потянула бы на отдельную главу. Расскажу кратко. Придумали мы некий собирательный образ, типа Теркина, окрестили его Васечкиным. А фотку пересняли из журнала «Советский воин». От имени Васечкина и писали ей. Понятно, одним почерком. Тут уже свое мастерство демонстрировал Лева Ошеров, радиомонтер, трубач и барабанщик по совместительству. Почерк у него был красивый, даже как-то по-девичьи красивый, – а уж фразу мог завернуть.

Случаи, ситуации для Васечкина придумывали самые невероятные, часто списывая их из кого-то из нас. И вообще, мнимый Васечкин настолько прижился в роте, что уже казался реальностью. Помню, вваливается в роту проверяющий и первым делом – к бачку с питьевой водой. Бачок, как полагается, на замке. Так он, хитрец, цап за крышку сзади и приподнял ее.

– Кто? – сурово спрашивает дежурного. – Кто это сделал?

Тот, не моргнув глазом:

– Рядовой Васечкин.

А подать сюда Васечкина! Искали, искали – не нашли. Так ни с чем и уехал тот проверяющий...

Но Лева не был бы Левою. Как оказалось, в тайне от нас он с той заочницей отдельно переписывался и решительно настраивался на встречу (они почти земляки: он из Омска, она из Томска). Мы простили ему такое самовольство. Ладно, пусть будет самый красивый...

А солнце все выше, все горячее. Как же, наверное, хорошо там, в Союзе!..

Роз-Мари

Право же, ни к чему нам были увольнения. В самом деле, куда податься, чем заняться в чужом городке? Сходить в кино? Но кинотеатра, в нашем привычном понимании, здесь нет. А если и был, многое ли поймешь на немецком языке? Просто посидеть в скверике, поесть мороженого – и только?

Обычно шли к музею Равенсбрюк, на площадь. В субботние и воскресные дни она буквально была наводнена туристами – Европа, Америка, Азия. А шли с одной мыслью: повстречать соотечественников. Вычислить их было легко: итальянские болониевые плащи (страшный дефицит тогда в Союзе и большая гардеробная гордость, а всего-то на всего – дождевики), мятые костюмы, серые безликие кофточки... Неважно, наши – ведь. Мы, естественно, с вопросами:

– Ну, как там в Союзе? Что в магазинах? Какие фильмы крутят?

А уж если земляк попадется, то-то радости было:

– Привет Туле! (Донецку, Минску, Запорожью...)

– А Серобородько Ивана Михайловича знаете? Так я ж его сын.

Обнимали мы их родненьких...

В музее Равенсбрюк я и познакомился с Роз-Мари – уже на последнем году службы. Она была года на четыре старше меня. Работала русским переводчиком. Синие глаза, темные короткие волосы, румянец на щеках. Отец ее погиб на восточном (нашем) фронте. Или умер в плену...

Жила Роз-Мари с мамой и сестрой. Окончила университет, хорошо знала русскую литературу, что меня даже несколько задевало. Я, как я полагал, тоже неплохо знал русскую литературу, но того же Достоевского читал мало. О Набокове вообще не слышал. Я все больше цитировал Пушкина. Она ответно читала и объясняла мне Гейне, Гете. Что говорить, меня тянуло к Роз-Мари, и я готов был вос-

пользоваться любой возможностью, чтобы повидать ее. Сотрудники музея, понимающе улыбались и оставляли нас наедине. Иногда мы бродили вдоль озера. И даже катались на лодочке...

И вдруг, как обухом по голове:

– Тебя «контрик» вызывает.

То бишь особист. Майор Скирда. А контриком прозвали потому, что малейшую в его понимании моральную, идеологическую нашу неустойчивость (и тут неважно, солдат ты или офицер) он воспринимал чуть ли не как контрреволюцию.

«Пронюхал все же. Или кто-то донес. Эх, люди...»

Стучусь и, не дожидаясь ответа, вхожу:

– Товарищ майор по вашему приказанию...

– Ну, зачем так официально? – перебивает он меня, поднимаясь из-за стола. – Я же тебя просто так пригласил – поговорить, поспрошать, как служба, настроение? Да ты присаживайся.

– Служба – нормально, товарищ майор.

– Знаю, знаю. Вот и на последних учениях, говорят, хорошо сработал. Кстати, радиоделу где учился?

– Вообще-то я – самоучка. Увлекался физикой, мечтал поступить в институт. Не вышло...

– Молодец!

«При чем тут «молодец? Я ведь не поступил. А если бы поступил, не торчал бы сейчас перед тобой».

– А я вот мечтал о военном училище. И, представь себе, поступил. А конкурс был....

«И чего хвастается? Подумаешь, военное училище! А попробуй на физфак».

– Сам понимаешь, время было трудное, – продолжал он. – А офицерам паек давали...

Я все еще не понимал, к чему он клонит. И эта его фамильярность...

– Надо бы твоим родителям письмо отправить, – сказал он и вроде как бы обрадовался такой неожиданной мысли. – Поблагодарить за хорошее воспитание сына.

– Уже отправляли.

– Да? – сделал вид, что удивился. – Еще одно отправим. Родители кто твои? Знаю, знаю. Мать – учительница, отец – экономист.

«Если знаешь, зачем спрашивать? Чтобы показать, что вообще все обо мне знаешь? И про Роз-Мари».

Он словно угадал мои мысли:

– Я все тут про всех знаю. Должность такая, сам понимаешь. Служим за границей, нужно быть особенно бдительным. Так что с этой немкой-экскурсоводом заканчивай.

– С какой немкой? – удивленно спросил я.

– Не прикидывайся! Бегаешь, бегаешь к ней. А за такое, сам знаешь, что бывает. Вот и на прошлой неделе бегал. В воскресенье.

– Да не бегаю я никуда. Это кто-то клепает на меня. Ну, сводил молодых в музей. Мы туда их каждую субботу водим – группами. В основном ротный это мне поручает. Как комсorghу.

– Еще и комсorgh! – закурил, выпустил шумную струйку дыма. – Роз-Мари, кажется, ее зовут? («Вот гад, все знает!») Что у тебя с ней?

– Ничего!

– Ничего... – хмыкнул он. – А почему в комнате закрывались? Статьи твои в газете печатают.

– Это я в книге отзывов написал... А они перевели на немецкий и опубликовали.

– С твоего согласия?

– Ну, да.

– А почему мне не доложил?

– Да как-то не подумал...

– Не подумал... А о том, что контакт с немками запрещен, подумал? О том, что это прямое нарушение воинского устава, подумал? Да ты знаешь, что такое может быть! В общем, такой тебе мой совет, или, если хочешь, приказ: поведешь в следующий раз молодых в Равенсбрюк и скажешь этой своей Роз-Мари, что тебя срочно переводят в Союз. Или досрочно демобилизуют. И чтобы твоей ноги там не было. Понял?

– Так точно, товарищ майор.

– Ладно! Иди!

Я развернулся, взяв под козырек.

– Стой! – вышел из-за стола. – А скажи мне, товарищ сержант, если уж ты такой правдивый (издевается, конечно), это правда, что меня контриком называют?

– Правда, – не моргнув глазом, отчеканил я.

Помолчал в задумчивости:

– Я не спрашиваю, кто. Этого ты не скажешь.

– Да все, – вырвалось у меня.

– Все? – вернулся за стол. – Вот идиоты! Даже не знают истинного значения этого слова. Контрик, запомни и передай другим, этот тот, кто против революции, против всего: политики, идеологии партии, против той же воинской дисциплины. Вот ты, например. Ты и есть контрик. Если я дам ход этому делу, тебе ох как не поздоровится. По крайней мере, дембель твой точно тормознут. Это в лучшем случае. Но я не буду этого делать. Не хочется портить тебе жизнь. Парень ты способный, будешь учиться... При условии, что сделаешь все, как я сказал. Иди!..

«Все знает. И, похоже, давно. Почему же тогда молчал? Ждал, когда я окончательно прокалюсь».

Уже на следующий день я рванул к Роз-Мари. День будничней, туристов немного, и, значит, больше обычного удастся пообщаться. Неужто в последний раз?..

Проводила меня до двери, и тут вижу, из-за автобуса выплывают трое с красными повязками на рукавах: старлей и два парадных солдатика. Заметили меня и напрямик ко мне. Солдатики, ладно, не по своей воле в патрульной шкуре оказались и наверняка, будь у них хоть малейшая возможность, выручили бы меня. Но офицеру выслужиться надо. К тому же, наверное, он из соседней, автобатовской части, а автобатовцы, ох как не любили нас, связистов, обзывая чуть ли не интеллигентами.

Что тут было делать? Бежать? Смешно. Глупо.

Оглядываюсь на Роз-Мари: она все еще стоит у входа в музей. Замечательная все же эта черта: попрощавшись с родным, близким человеком, да просто с другом, прово-

дить его взглядом, взмахом руки, пока он окончательно не скроется из виду: в поезде ли, в набирающем ли высоту самолете или, как я сейчас, за поворотом. И не понимаю тех, кто, буркнув «Пока!», тут же кажет тебе спину.

Я зашел к Роз-Мари, почти подбегаю.

– *Вас ис лос?* – встрепенулась она. Меня всегда умиляло выражение удивления на ее лице (а удивлялась она всему: моему плохому немецкому, моему неожиданному нежданному появлению, моему неумелому поцелую) – трогательное, по-детски наивное.

– Патрули! – только и сказал я.

– *О, майн гот!*

Офицер и солдатики деликатно замерли в стороне.

– *Шнель!* – берет меня за руку и увлекает куда-то вглубь музея. – Здесь ты будешь в безопасности!

– Но мне надо в часть, – показываю на часы.

– Да, да... *Айн момент.*

Куда-то убежала и вскоре вернулась, радостно улыбаясь:

– Вот, ключ.

Словом, вывела меня через черный выход.

– Спасибо, Роз-Мари! Я побежал.

– *Николя!* – выдохнула она.

Так ничего ей и не сказал. Ладно, в следующий раз...

Вечернюю поверку проводил Сашка Красненко. Смешно было смотреть на шеренгу молодых. Шеренгу буквально качало, настолько нестерпимо было каждому, стоящему в ней, бороться со сном.

Знакомо! Бывало, так выматывался за день, что, ей богу, не было большего счастья, чем рухнуть в койку. А теперь вот не уснуть. И тут же же просыпаюсь, едва зашуршит динамик у поста дневального – за две-три минуты до общеполковой команды «Дежурным по ротам произвести подъем!»

«А, может, действительно, все сделать, как просит «контрик», и прощай Роз-Мари?..»

Все будет нормально

Ни разу, сколько выезжали на учения, командир полка не приходил к нам на радиостанцию. То ли оттого, что располагались мы всегда поодаль от штабной площадки (уж такова была специфика станции: всех давила), то ли оттого, что более всего уделял внимания засовцам (специалистам закрытой связи) – эти всегда должны быть под боком.

И тут видим – о господи! – из-за деревьев появляются комполка и взводный. Предупреждать же надо! Резко разворачиваюсь и – к ним, успев, однако, шепнуть Ляликову (Ляликов – форменное чучело: ремень на боку, подсумок где-то на заднице):

– Подними Балацкого! (Тот завалился в кабине.)

– Товарищ подполковник, начальник радиостанции!..

Как я уже говорил, Очерет был подполковником, но все или почти все в полку, те же комбаты, пребывающие в таком же звании, что и он, обращались к нему не иначе как «товарищ полковник». Этаким армейский подхалимаж! Но произносилось это, я замечал, как-то хитро, скороговоркой, типа «поко-овник», как нечто среднее между «полковник» и «подполковник». Очерет не возражал. Сам в свое время усваивал такую этику. По крайней мере, не было случая, чтобы он кого-нибудь одернул или поправил.

Так что лицезреть Очерета в полковничьих погонах (а полагалась и каракулевая папаха) мне и моим сослуживцам не довелось. А жаль. Наверное, стал бы более солидным и менее грозным, и лицо его не раскалялось бы по поводу и без повода, и мы не называли бы его Помидором. Нет, все равно бы называли: в армии, да и вообще по жизни так: если уж к кому прилепилась какая кликуха, вовек от нее не избавиться. Словом, для нас Очерет так и остался Помидором-подполковником.

Много лет спустя я узнал, что дослуживал уже полковник Очерет свои календарные в Киевском военном округе. И не удивительно: родом-то он из Украины. Вот и осел в родных местах...

– Ладно, ладно... – пыхтя, поднимается по лесенке в салон (сапожки хромовые, блестящие), усаживается на привинченный к полу металлический стул.

Взводный Терентьев и я становимся напротив: я – ближе к стойке радиоприемника, он – у телеграфного аппарата и как бы незаметно (спасибо, взводный!) приводя в порядок рабочий столик.

– Ну, рассказывай, – обращается ко мне комполка.

Я растерялся: о чем рассказывать? О самой станции? Ну, тропосферная, на двух машинах, новейшая, мощнейшая. О том, как работаем на учениях?

Он опередил меня:

– Сколько радиogramм приняли?

– Со вчерашнего вечера – двадцать пять.

– А передали?

– Штук тридцать, – ответ, конечно, был неудачный, вот и взводный поморщился – в армии не терпят неточности, неопределенности.

– А передатчик где находится?

– В метрах трехстах отсюда. Ближе никак нельзя. – А сам незаметно поглядываю в окошко: забегали, забегали мои ребята. Марафет наводят.

– Кто на передатчике?

– Младший сержант Мальцев.

– Замену себе готовишь?

– Так точно!

– Это хорошо. Вот какое дело, сержант. Офицерские курсы ты окончил. С вузом, правда, не получилось. Почему – сам знаешь. Вот только зачем было с таким вопросом – к генералу. Пришел бы в штаб, все бы тебе и объяснили.

– Я был у замполита...

– Да путаник он, твой замполит. В общем, такое тебе предложение: послужи еще. Аттестуем тебя. Примешь взвод.

«Так вот зачем ты пришел, товарищ комполка! Агитировать. Нет уж, дудки! Это мы уже проходили. Уговаривали, обещали. А что на поверку? Нет, армейским обещалкам я больше не верю».

– Нет, не могу, – товарищ подполковник. – Я хочу в институт.

– Ну и поступишь, – продолжает он. – Уже в будущем году. В академию или во Львовское политехническое училище. Говорят, ты журналистом хочешь стать. Есть там факультет журналистики, – и, помолчав, добавил: военной журналистики.

– Товарищ подполковник, я хочу в МГУ.

– В МГУ-у-у? – неодобрительно протянул он. – Туда все хотят.

– Попробую.

– Ладно, – поднялся со стула, окинул взглядом салон. – А это что? – показал рукой на кронштейны на стене.

– Крепления для диполей антенны. Когда – на марше.

– А здесь спите? – ткнул пальцем в топчан.

– Так точно. Посменно...

– А вентиляция работает?

– Работает. Можно включить.

– Не надо. Где-то к полуночи вас вызовет штаб группы.* Так что будьте начеку. Не должен был вам об этом говорить. Уж не подкачайте.

– Все сделаем, товарищ подполковник!

– Верю, верю. А о моем предложении подумай, – повернулся ко мне в полкорпуса: – А это правда, что твои статьи печатали в немецкой газете?

– Правда.

– Небось, и гонорар получил?

– Получил, – вяло ответил я.

«Господи, все знает! Неужто и про Роз-Мари знает?» – меня бросило в жар.

Спустился на землю (сапожки хромовые, блестящие) и, наверное, был удивлен чистотой вокруг станции: ни окурков, ни грязной ветоши, ни других случайных предметов. Хитро ухмыльнулся:

* Штаб Группы советских войск в Германии

– Н-да, – и, уже обращаясь к взводному: Товарищ, старший лейтенант, по окончании учений доложите мне лично, как сработал этот экипаж.

– Есть, товарищ поко-овник, доложить лично! – отчеканил взводный, показывая нам за спиной кулак.

Ладно, взводный, все будет нормально...

29 августа 2009 года

(Вместо эпилога)

Давно нет берлинской стены, советские войска выведены с территории теперь уже бывшей ГДР, в том числе полк, в котором я служил. Что там теперь? Жилой микрорайон, фабрика, завод, склады? Взглянуть бы хоть одним глазом. И я поехал.

В Шереметьево-2 отправился, на ночь глядя, на последнем с Савеловского вокзала аэроэкспрессе. Эка беда! Потолкаюсь там пять-шесть часов, читаю газету, выпью чашечку кофе, просто подремлю и таким образом скоротаю время. И уж точно к регистрации на рейс (во всем надо видеть позитив) не опоздаю.

Сидел, читал, пил кофе и баловался коньячком.

«Прилечу в Берлин, – в который уже раз прокручивал задуманное, – устроюсь в гостинице и сразу же рвану в Фюрстенберг, – что там у них: поезд, электричка? Всего-то восемьдесят километров. Час езды. Дальше – пешком, по шоссе или брусчатке. Потом – направо, в лес. Или налево?.. Но есть и конкретный ориентир: музей Равенсбрюк. Если от него подняться вверх по брусчатке до перекрестка, то до части будет уже рукой подать... Равенсбрюк.... Роз-Мари, конечно, там уже не работает. Столько лет прошло! А может, все же удастся ее разыскать? Кто-то из нынешних музейных работников вспомнит ее, поднимут архивы, наведут справки, подскажут, где она проживает»...

Вылет задерживался, надо полагать из-за тумана, который подкрался еще с ночи, но теперь таял буквально на глазах. Торчим в «отстойнике», нетерпеливо поглядывая на «пристегнутый» к трапу-переходу аэробус. В его брюхо грузчики, не спеша, закидывают багаж; под крылом снуют техники, обмениваясь с экипажем какими-то бумагами.

Ну взлетим чуть позже. В Берлине все равно будем утром, переводя стрелки на два часа назад.

Берлинский аэропорт Шенефельд («красивое поле») впечатления не произвел. Наше Шереметьево – внушительней. Об этом и сказал встречавшему меня представителю турфирмы – Виктору.

– Да, аэропорт небольшой. Есть еще два, но те даже поменьше.

Виктор, светловолосый, сухощавый, лет тридцать пять ему – из поволжских немцев. Перебрался сюда вместе с родителями четырнадцать лет назад. Здесь же повстречал свою будущую жену, тоже немку, из Оренбуржья. Доволен и жизнью, и работой. Он – частный предприниматель, оказывает транспортные услуги, главным образом, российским турфирмам: встречает туристов, отвозит их в гостиницу, везет на экскурсии по Берлину в другие города, в другие страны. Для этого и приобрел просторный «Мерседес».

– Вот недавно возил группу во Францию, – как о чем-то совершенно обыденном сказал он. – А перед этим была поездка в Швейцарию.

– А я служил здесь.

– Понятно.

– В Фюрстенберге. Это в восьмидесяти километрах севернее Берлина. Маленький такой городишко, тысяч пять жителей.

– Не был, не знаю.

– Там еще рядом Равенсбрюк. Музей-концлагерь.

– Слышал.

«Странно, – подумал я, – человек четырнадцать лет живет в Берлине, а так и не удосужился побывать в Равенсбрюке. Понятно, страшное место: бывший концлагерь. А, может, потому его не тянет туда, что ему, немцу, рожденному в СССР, вовсе даже не хочется отягощать душу зловещим прошлым своих исторических предков?»

– Работа... – многозначительно заключил он.

– И сколько набегают в месяц?

– Тысяч пять.

– Евро?

– Здесь говорят «оэро». Европа по-немецки Оэропа...

Все зависит от того, сколько заказов наберу.

– А как с жильем?

– Жилье арендую. С жильем здесь вообще проблем нет. Нет даже такого понятия: очередь на жилье. Нужна квартира – арендуй. Хоть пожизненно. А русских здесь много, – продолжал вещать он. – Бизнес удобный.

Въехали в Берлин, в бывший западный Берлин – безлюдные улицы (понятно: выходной день), серые тяжелые дома.

– Ну вот, приехали. Гостиница «Шарлоттенбург».

«Это уже третье «ша», ловлю себя на мысли: Шереметьево, Шенефельд, Шарлоттебург».

– Откуда такое название?

– По названию станции метро, наверное. Она тут рядом. Но есть и дворец Шарлоттенбург.. А гостиница русскоязычная – весь персонал из России. Да и останавливаются здесь в основном русские. Владелец гостиницы – одессит.

– Понятно.

Я попрощался с Виктором, поднялся в свой номер: скромный, уютный. Большое зеркало.

– Ну, с прибытием! – киваю своему в нем отражению. – Вот отдохну чуть-чуть, попью пивка и – на вокзал!

* * *

Хауптбанхоф (главный вокзал) – монстр какой-то. Сами берлинцы его не любят. Перегружен донельзя, запутан. Поезда и над, и под, еще и метро. И весь напичкан магазинами, барами, кафешками. Еле выбрался из него.

А поезд, так называемый региональный, понравился: сверкающий, легкий, бесшумный. У окна – розетка: можешь подзарядить мобильник, подключить ноутбук. На нижней площадке – стойка-автомат: печенье, напитки. И мимо, мимо – убранные поля, озерца, красночерепичные домики. Кстати, названия станций знакомые: Ораниенбург, Левенберг, Гранзее... Ясно: они же

– населенные пункты, через которые мы столько раз проезжали.

Фюрстенберг поначалу показался чужим, незнакомым. Рыжее зданье вокзала, две-три легковушки на «пяточке», бегущая вниз брусчатка. День ясный, солнечный.

– *Гутен таг!* – навстречу девочка с велосипедом.

Я, естественно, ответил, приятно удивившись: «С незнакомыми здороваются». А по правую руку – то ли парк, то ли сквер и вырастающий прямо на глазах белый обелиск с золотистой звездой. Как же, помню. В День Победы мы возлагали к нему венки и проходили парадным маршем, яростно чеканя шаг.

Обелиск свежевыкрашен, ухожен. Спасибо! На плитах золотом фамилии – на русском и немецком языках: л-нт Мамаев, ст. снт. Некрасов Я. М., ефр. Гречко И. Н., ефр. Джумагандиев, ряд. Андропов Н. А., ряд. Бурлак Г. К., ряд. Зайцев К. И., ряд. Марин Д. И. – 56 фамилий. 56 чьих-то сынов. Знают ли их матери, вернее, знали и их матери (говорить, очевидно, нужно в прошедшем времени), где они лежат?

И что сказали тем, другим матерям, чьи сыновья в списке неизвестных? Их таковых здесь 43. Но почему неизвестные, безымянные? Да, шли бои, брали Берлин. Неужто даже в той, победоносной ситуации (не 41-й же кошмарный) не было должного учета потерь? И сколько таких обелисков по всей Германии!

По кругу слова: «Вечная память героям, павшим в Великой Отечественной войне за свободу и независимость нашей Родины!» Слова (нисколько не кощунствую) не совсем точные. Родину-СССР Красная армия освободила в 44-м, отбросив врага за западную границу, и потом уже освобождала Европу. Так и нужно было написать (эх, политруки!): «...павшим за освобождения Европы от фашизма».

Кирха, ратуша, гаштет. Крохотная, как игрушечная, плотина через речушку Хафель впадающую в Эльбу. Пестрые домики, аккуратные дворики – картинка... Но надо выбираться на основную дорогу.

Сразу скажу: с час, наверное, шастал по лесу то справа, то слева от дороги, но воинскую часть свою, хотя бы какие-то ее признаки, клочок знакомой территории, не нашел. И понял: надо идти к музею Равенсбрюк, благо, что направление к нему отмечено указателями, и уже от него плясать. Но музей – это Роз-Мари. Что-то подсказывало мне, что никто ее там не помнит и не знает, а услышать найн ох как не хотелось.

Легко вышел к озеру Шведтзее, прикрытому высокими деревьями. Во, вымахали! А вот место, где мы купались, и где Маркину в прыжке кто-то саданул по голове. Дальше, на красной гранитной площадке, прямо у воды – скульптурная группа (женщина с ребенком). За скульптурой – Стена наций. По всей ее длине – названия государств, чьи подданные были заключены здесь. Более двадцати государств. Крематорий... Как же тяжело ступать по этой земле!..

Но странно: вокруг – никого или почти никого, так, два-три человечка. А было время, автобусы с туристами прибывали сюда один за другим. Неужто и в самом деле ослабевают интерес к той страшной войне? Уходят в забвение зверства фашизма?..

Побродил еще по внутренней территории музея-концлагеря: длинные приземистые бараки, мастерские. Зашел и в административный корпус. Конечно же, сказали, что такую, Роз-Мари, не знают, не помнят. Я все же попросил навести хоть какие-нибудь справки о ней, и пообещал подойти позже.

* * *

Ну, где же она, моя часть? От площади нужно подняться вверх, это – точно. Но тут же натыкаюсь на колючую проволоку. Обойдя ее, а для этого пришлось забраться на каменистый выступ, попытался пройти по высокой пожухлой траве вдоль коттеджей. Снова проволока. А коттеджи-то заколочены. Лишь таблички торчат: «Не разрушать. Собственность Земли Брандербург». Но, похоже, и властям Земли Брандербург они не нужны.

Снова выбираюсь на основную дорогу, держа в голове, что где-то поблизости должна быть железная дорога, та самая узкоколейка, она-то и доведет до части. Забираюсь в лес, все глубже, глубже. Есть! Нашел! Ржавые рельсы, заросшие травой шпалы. Похоже, поезда здесь давным-давно не ходят. Ну и черт с ними! Они и в прежние времена не часто ходили, два-три раза в сутки – какой-то рабочий поезд. Но как же обрадовался этим рельсам! Вспомнилось дембельское: «Едем!» Но то – домой, я же, наоборот – из дому, к месту бывшей своей службы. Сказал бы мне тогда кто-нибудь такое, ни за что не поверил бы...

Чуть ли не бегу по шпалам. Вот-вот появится деревянный настил. Слева от него будет КПП...

Размечтался. Ни КПП, ни решетчатых ворот с красными звездами. Теперь здесь что-то вроде хозяйственного склада, обнесенного металлической сеткой. Едва приблизился, ко мне с лаем бросился кудлатый пес. «Ни фиги себе! Это на меня, служившего здесь, кидается какой-то пес?!»

На месте клуба – белое двухэтажное здание с высокой двускатной крышей и с размашистой надписью на стене: что-то типа «покрытие верха». Как понял, цех по изготовлению пластиковой черепицы. Чуть дальше – пансион «Пришоссейный дом». Веселенькое название, нечего сказать. Здесь доживают свой век престарелые немцы. Кстати, таких пансионеров в Германии очень много. Просто не принято, чтобы родители до конца дней своих проживали вместе с детьми или хуже того – прозябали в одиночестве. Как только кто-то из них остается один, его (ее) тут же определяют в пансион. Наверное, это по-умному: все – спокойная старость.

А там, где был плац... («Смирно!» – аж звон в ушах.) Там, где был плац («Здрав-жел-тов-поков-ник!»... И это его «учерашний день...»). Где был плац – два свеженьких коттеджа с мансардами. Плотно зашторенные окна. И никого вокруг. Ни души. Потому, наверное, что суббота, а немцы в субботний и воскресный день предпочитают отсиживаться дома. А может, это они из-за меня, узнав о моем при-

езде, забились по углам, из-за меня, советского солдата, пусть теперь и бывшего, которому, как и тысячам-тысячам других советских солдат, пришлось встать на охрану их западной границы и не позволить натовской машине сломать ее, в чем им теперь не хочется признаваться. Как, впрочем, и в том, что с объединением Германии проблем у них, у восточных немцев, не убавилось... Ан нет, кто-то вон появился. Смирно!

Тучный немец, в широких штанах и в вязанной кофте, не спеша направляется к синей «Таете». Я ускорил шаг.

– *Гутен таг!*

Он приостановился:

– *Та-а-г!*

– Где здесь штаб? – спрашиваю по-русски.

– *Штап?* – переспросил он. – *Штап капут!* – и куда-то махнул рукой.

О, где ты, друг мой, Толя Балацкий? Как бы сейчас врезал ему!

Да, здания штаба нет. Нет и трибуны (синяя деревянная), мимо которой мы столько раз проходили торжественным маршем, да еще с песней:

*Ощетинились антенны.
Расстоянья не страшны.
Никакие вражьи тени
Не закроют свет страны.*

Заводил Лева Ошеров. Мы дружно подхватывали:

*Бывает походная рация
Сильнее любого огня.
Без связи слепа авиация
И даже броня не броня.*

Улетала наша песня выше сосен и неслась далеко-далеко, до самой до берлинской стены...

Одна из казарм всё же уцелела, двухэтажное, из белого силикатного кирпича и с выложенными на торце – уже

другим, красным кирпичом – цифрами: 1970. Год завершения ее строительства. Уже после моего дембеля. Сиротливое, безжизненное здание (окна на первом этаже замурованы), словно немой укор...

Зияющие пустотами автобоксы. По жухлой высокой траве пытаюсь пробиться к ним. Почва сухая, песчаная. И вдруг – стоп! Что это? Сапог? Да, он самый, сплюснутый, полуистлевший. Чей? Как тут оказался? Бедный Йорик! А был когда-то и блестящ, и легок, кокетливо поскрипывал по казарменному полу, лихо, на пару с другим, таким же вышагивал по плацу, позвякивая подковкой, носился по брусчатке, по лесным тропинкам.

Другой, должно быть, где-то рядом. Нет, не вижу. По-дальше, значит. Ясно одно: это кто-то из дембелей, переобувшись в обнову, старые сапоги один за другим вышвырнул за забор. За ненадобностью. Двадцать, тридцать лет тому назад... Вот и наша воинская часть со временем стала... за недобностью. И наша служба здесь – за ненадобностью...

Еще раз прохожусь по территории и – на выход. Мимо КПП, через распахнутые ворота (Тррам-тррам-тррам...). По дощатому настилу через железку (Тррам-тррам-тррам...). Мимо стадиона. Господи, глядеть на него больно: дикое, заросшее травой поле. Вон до того поворота, что у офицерской столовой (какая-то полуземлянка с фанерными окнами). Мимо офицерских коттеджей (те же окна-доски) ...

* * *

– Роз-Мари уволилась, – сказали мне в музее, – в 1971 году. Сохранился и ее тогдашний адрес: Лихен, Дорфштрассе, 14.

Лихен? Так это в двенадцати километрах отсюда. Там еще располагался армейский госпиталь, куда к сестричкам частенько мотались наши офицеры и «макаронники».

Снова, уже в который раз, выбираюсь на знакомую дорожку, останавливаю первую же легковушку и, перемежая

русские слова с немецкими, прошу сидящему за рулем юного германца подвезти меня до Лихена.

– *Битте!* – с легкостью соглашается он.

Ехать – всего ничего, однако ж успел ему сказать, что я из Москвы, что когда-то служил здесь. Он взглянул на меня не то чтобы с любопытством, а, скорее, с недоумением. Для него, родившегося явно уже после берлинской стены, уже в объединенной Германии, я был словно из другого мира, непонятного ему и неведомого.

– Вот еду повидать одну женщину, – прерываю затянувшееся молчание.

Он понимающе улыбнулся:

– *Гут!*

Зря опережаю события. Роз-Мари там, может, и не проживает, давным-давно перебралась в Потсдам или в Берлин. Помнится, были у нее такие планы. Однако ж в доме-то кто-то будет, и, значит, подскажут, где ее дальше искать...

Выехали на Дофштрассе, и я попросил остановиться:

– *Цу фуз* (пешком). Данке шен

Деньги взять он отказался.

Вот и дом. Низенький деревянный заборчик, рядом с калиткой – почтовый ящик (*Дойче пост*), кнопка звонка. Нажимаю. Никого. Тишина. Соображаю: звонок – для извещения о почте, значит, должен быть другой, у двери. Вхожу в калитку и тут вижу: на пороге появляется женщина в светлых брюках, с уже заметной сединой – лет сорока. Сестра, наверное. Здравуюсь и, с трудом подбирая слова, объясняю причину своего приезда. Она что-то отвечает. (Господи, сколько раз просил немцев не говорить быстро!) Ничего не понял, кроме *найн, ниht*. Нет дома? Скоро будет? Уехала?

– *Николя?* – пристально вглядывается в меня.

– *Я-а-а! А вы швестерн?* Сестра? Племянница? (Как это будет по-немецки? Ну да ладно).

Большая светлая комната, круглый стол, накрытый бежевой скатертью, пианино (Роз-Мари играла на пианино? Вот

не знал!), на каминной полке – большая фотография в светлой рамке. Да, это она, Роз-Мари! Короткая стрижка, синие глаза. Лет, наверное, ей здесь сорок, сорок пять. А женщина (сестра ее или племянница) все что-то говорит и говорит, я не слышу и не слушаю ее, и вдруг резануло: *тод*.

– *Тод?* Смерть?

Она кивнула:

– *Цванцигхундертзехс*, – достала блокнот, карандаш: 2006.

В ужасе гляжу на нее.

– *Кранкхайт* (болезнь), – добавила она, вздохнув.

Роз-Мари умерла? В 2006-м? И я об этом не знал? О, господи, что я несу? Как будто у кого-то из ее близких, у этой же женщины, мог быть мой адрес. Его и у Роз-Мари не было: я как-то сразу закрутился, затерялся: студенчество, стройотряды, любимая журналистика...

– *А дизе*, – показывает на фото слева: улыбающийся, в кожаной куртке парнишка, – *Зон* (сын).

– *Зон?*

Секунду помедлила:

– *И-ир зон* (ваш сын).

– *Майн?* – чувствую, как холодеют виски.

– *Я-я-а... Гюнтер*.

Гюнтер? Его зовут Гюнтер? Мой сын? Наш сын?..

– *Берлинэнмаэр*.

– Что? – непонимающе смотрю на нее. Ах, да, берлинская стена.

– *Шиссен* (стрелять). *Дойче зольдате*, – снова берет карандаш, записывает: 1987.

Не понял. Неужели?

– *Эс меглих?*

Она кивает.

Вот оно что. Убит при попытке перебраться в Западный Берлин. Гэдэровскими пограничниками. Такого Роз-Мари пережить не могла... Зачем все так?

Зачем я вообще приехал сюда? Чтобы лишний раз убедиться в том, что мое, наше, тысяч и тысяч советских солдат пребывание здесь на поверку оказалось ненужным и

бессмысленным? Чтобы узнать, что Роз-Мари больше нет, а еще раньше не стало ее сына, нашего сына, о существовании которого я даже не догадывался?..

Через пару часов поезд мчал меня в Берлин, где мне предстояли две-три скучные экскурсии. Мне же не терпелось поскорее оказаться в подмосковной электричке...

Солдатская повесть

Как и большинство читателей, к литературе я отношусь предельно просто: интересно – читаю, не интересно – закрываю книгу. Последнее время, прочитав два-три абзаца, чаще всего закрываю. Чего мучить себя, если в прозе нет ни ясной мысли, ни нового взгляда, ни интонации! Про язык и говорить не приходится – или бедный словарный запас и штампы, или выкрутасы, какая-то словесная чехарда. Понятно, такую литературу назвать «художественной» может только наивный читатель, опытному книголюбу (не говоря уж про литераторов) важно не только о чем вещь, но и как она написана.

И все же случаются радостные открытия, и они, на фоне слабой литературы, смотрятся особенно впечатляюще. Одно из таких открытий я сделал, прочитав повесть Николая Соляника «Как я был «оккупантом». Николая Соляника знаю давно как поэта, и вдруг он протягивает мне тонкую книжку прозы. Не скрою, я настороженно отнесся к его выступлению в новом качестве – все-таки прозаики живут на земле, а поэты на небе. Но, открыв книжку, я, не отрываясь, прочитал ее до конца.

Повесть Николая Соляника автобиографическая, о его армейской службе в Германии в конце шестидесятых годов. Повесть небольшая (всего-то 70 страниц) и состоит из коротких рассказов. Как известно, написать короткий рассказ крайне трудно, ведь здесь цель – максимум выразительности и минимум средств выражения. В малой форме раскрыть сюжет, дать экспозицию и образы по силам только мастеру. За последнее время я почти не читал качественных коротких рассказов, и вот книжка Николая Соляника.

Вроде бы незамысловатые эпизоды – всего лишь зарисовки армейской жизни, но как зримо они представлены! Перед читателем встает воинская часть на окраине немецкого городка, совершенно живые сослуживцы автора, их будни, учения, «самоволки», патрули, работа в подшефном кооперативе и местные мальчишки, и, конечно, девушки – как же без них, если вам всего-то двадцать! Романтические отношения автора с пе-

реводчицей Роз-Мари показаны особенно замечательно – без всякой умильной слащавости, деликатно и мужественно.

Давно известно, что писать обо всем – значит, в общем-то, писать ни о чем, что только через, казалось бы, малозначимые отдельные моменты можно дать целостную картину. Николаю Солянику это удалось в полной мере.

Нельзя не отметить своеобразную манеру его письма. С одной стороны – она дневниковая, доверительная, словно он беседует с близким другом (прямо по завету Горького), с другой – энергичная, без всяких украшательств, где каждая фраза работает на сюжет (сказывается опыт журналиста). И все это расцвечено юмором.

И, наконец, о главном. В нашей литературе множество прекрасных произведений о войне, но очень мало об армии в мирное время. Среди этих последних «демократы» в основном издают разных негодяев с их злобным очернением российской армии (чего стоит один «Стройбат» С. Каледина!). Разумеется, это делается с умыслом – чтобы молодые люди избегали воинской службы (что уже, надо признать, стало нормой). В отличие от злопыхателей, Николай Соляник показал истинное положение дел: сложную, но интересную работу, нелегкую повседневность, в которой всегда есть место и отдыху, и развлечениям, и настоящему мужское братство, которое (знаю по себе) остается на всю жизнь, и, что особенно важно – показал гордость за свою Родину. В этом смысле небольшая повесть Николая Соляника не только интересное чтение, но и пример истинного патриотизма.

Леонид СЕРГЕЕВ,
прозаик,
лауреат литературных премий

Николай Ананьевич СОЛЯНИК

КАК Я БЫЛ «ОККУПАНТОМ»

Контрольный редактор В. Куксов
Компьютерная верстка О. Степановой
Оригинал-макет Д. Дмитриева